

Джозеф
Хеллер



Вообрази себе картину

[роман]



XX век / XXI век – The Best

Джозеф Хеллер

Вообрази себе картину

«Издательство АСТ»

1988

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Хеллер Д.

Вообрази себе картину / Д. Хеллер — «Издательство АСТ»,
1988 — (XX век / XXI век – The Best)

ISBN 978-5-17-135129-8

Один из самых необычных, элегантных и остроумных романов Джозефа Хеллера. Произведение, которое можно назвать одновременно и сюрреалистической фантазией, и философской притчей, и исторической прозой, и блестящей литературной пародией на все вышеперечисленные жанры разом. Рембрандт ван Рейн, Аристотель, Сократ, Алкивиад, Платон – эти персонажи буквально оживают под пером неподражаемого Джозефа Хеллера и приглашают читателя совершить удивительное путешествие во времени, чтобы найти ответы на самые важные вопросы о природе искусства, сущности человеческих взаимоотношений и роли истории в жизни общества.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-135129-8

© Хеллер Д., 1988

© Издательство АСТ, 1988

Содержание

I	6
II	20
III	25
IV	36
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Джозеф Хеллер

Вообрази себе картину

© Joseph Heller, 1988

© Перевод. С. Ильин, наследники, 2020

© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

Трагедия – это подражание действию...
Аристотель, «Поэтика»

Прямая душа ставит честь превыше богатства.
Рембрандт

По-моему, Дьявол гадит голландцами.
Сэр Уильям Бэттен, инспектор Королевского флота, подслушано
Сэмюэлом Петисом, 19 июля 1667 года, «Дневник»

История – чушь, сказал Генри Форд, гений американской
индустрии, почти ничего ни о чем не знавший.

I

Вообрази себе картину

1

Размышляя над бюстом Гомера, Аристотель, пока Рембрандт погружал его в тени и облачал в белый саккос Возрождения и черную средневековую мантию, часто размышлял о Сократе. «Критон, я задолжал петуха Асклепию, – говорит Сократ у Платона, выпив чашу с ядом и ощущая, как онемение всползает от чресел вверх и приближается к сердцу. – Так отдайте же, не забудьте».

Разумеется, Сократ задолжал петуха не тому Асклепию, который – бог врачевания.

Торговец же кожей Асклепий, о котором мы здесь расскажем, сын врача Евриминида, недоумевал не менее прочих, услышав о таком завещании от раба, следующим утром явившегося к нему на порог с живым кочетом в руках. Власти также проявили живой интерес и взяли Асклепия под стражу, чтобы как следует расспросить. Поскольку он уверял, что сам ничего не понимает, и не желал объяснить, какой тут кроется тайный код, его приговорили к смерти.

2

Рембрандт, изображая Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, сам размышлял о бюсте Гомера, стоявшем слева от него на красной скатерке, накрывшей квадратный стол, и гадал, много ли денег сможет принести ему этот бюст на публичной распродаже его имущества, которая, размышлял он, рано или поздно станет более или менее неизбежной.

Аристотель мог бы сказать ему, что денег он принесет немного. Бюст Гомера был имитацией.

То было неподдельное эллинское подражание эллинской же копии со статуи, которую не с кого было лепить, потому что оригинала никогда не было на свете.

Существуют документальные свидетельства того, что Шекспир действительно жил, однако нет достаточных доказательств того, что он и вправду мог написать свои пьесы. У нас имеются «Илиада» и «Одиссея», но не имеется доказательств реального существования сочинителя этого эпоса.

В одном ученые сходятся: нечего даже и говорить о том, что обе поэмы мог целиком и полностью написать один человек, если, разумеется, человек этот не обладал гениальностью Гомера.

Аристотель помнил, что такие же бюсты Гомера попадались в Фессалии, Фракии, Македонии, Аттике и Эвбее на каждом шагу. Лица, если не считать пустых глазниц и разинутого в пении рта, всегда были разные. Всех называли Гомерами. С какой радости слепцу приспееет охота петь, Аристотель сказать не мог.

Относительно денег, которые удастся выручить за картину, сомнений не было никаких. Условия оговорили заранее в касающейся этой работы переписке между сицилийским вельможей и проживавшими в Амстердаме голландскими агентами, одного из которых, по-видимому, и следует поблагодарить за то, что он предложил Рембрандта в качестве исполнителя и свел две эти фигуры, занимавшие видное место в мире искусства семнадцатого столетия, но лично никогда не встречавшиеся, хотя отношения их, отношения художника и его покровителя, продоллись более одиннадцати лет, включив в себя по меньшей мере один обмен язвительными

посланиями, в которых заказчик жаловался, что его надули, а художник уверял в ответ, что ничего подобного.

Сицилийским вельможей был дон Антонио Руффо; вполне вероятно, что этот рьяный и разборчивый собиратель произведений искусства до того, как заказать голландскому живописцу портрет философа, понадобившийся ему для коллекции, которую он создавал в своем мессинском замке, никаких работ Рембрандта, кроме оттисков его офортов, и в глаза не видел. Много лет прошло, прежде чем Руффо уяснил, что изображенный на картине человек – это Аристотель. Того, что человек, на голове которого покоится ладонь Аристотеля, есть не кто иной, как Гомер, он так никогда и не узнал. Ныне мы соглашаемся с тем, что лицо на медалионе, прицепленном к золотой цепи, коей нуждающийся художник украсил философа, скорее всего принадлежит Александру, хотя, если не особенно привередничать, в нем можно найти и сходство с Афиной, лица которой никто из встречавшихся с нею зарисовать, разумеется, не пытался.

Никто из писавших или ваявших Афины, включая и скульптора Фидия, создавшего гигантскую фигуру богини, которая приводила в оторопь всякого, кто дивился Акрополю, понятия не имел, как она выглядит.

Цена картины равнялась пятистам гульденам.

В 1653 году пятьсот гульденов составляли в Нидерландах немалые деньги – даже в Амстердаме, где стоимость жизни была выше, нежели в каком бы то ни было ином месте провинции Голландия или других шести провинций, вошедших в состав недавно признанных и довольно бестолково организованных Соединенных провинций Нидерландов, они же Голландская республика.

Пятьсот гульденов, гневно жаловался дон Антонио Руффо в письме, написанном девять лет спустя, в восемь раз превышают сумму, которую ему пришлось бы заплатить итальянскому художнику за картину тех же размеров. Дон Руффо не знал, что они, возможно, в *десять* раз превышают сумму, которую Рембрандт мог бы в то время запросить в Амстердаме, где он уже вышел из моды и стоял лицом к лицу с финансовой катастрофой, сокрушительные последствия которой оставили его нищим до скончания дней.

Амстердам, население которого составляло примерно треть населения Афин в век Перикла, являлся главной коммерческой силой европейского континента и нервным центром империи, более обширной, нежели та, о какой могли мечтать самые амбициозные из греческих купцов и милитаристов, если, конечно, не считать Александра.

Огромная сеть голландских факторий и территориальных владений, раскинувшаяся на восток и на запад, объев земной шар более чем наполовину, включала в себя и бескрайние плодородные земли на восточном побережье Нового Света, протянувшиеся от Чесапикского залива на юге до Ньюфаундленда на севере. Это гигантское пространство именовалось Новыми Нидерландами, а на самом его краю располагались те несколько бесценных акров, которые пролегли вдоль западной стороны Пятой авеню – это близ Восемьдесят второй улицы на острове Манхэттен – и с которыми Аристотелю предстояло соединиться неразлучно.

Ибо на этом-то клочке земли со временем и вырос нью-йоркский музей Метрополитен, прискорбного облика здание, в каковом наконец обосновалась картина «Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера», пространствовал триста семь лет, – одиссея, протяженность которой во времени и пространстве много превосходит гомеровскую, не говоря уже об обилии глав, полных опасностей, приключений, тайн, борьбы за сокровища и комических эпизодов ошибочного узнавания.

Подробности совершенно зачаровали бы нас, если б мы знали, в чем они, собственно, состоят. Ибо лет примерно шестьдесят пять о местонахождении этой картины вообще ничего известно не было.

Она исчезла из Сицилии после того, как прекратился род Руффо. Она объявилась в Лондоне в 1815 году – в качестве принадлежащего сэру Абрахаму Юму из Эшридж-Парк в Беркампстеде, Хартфордшир, портрета голландского поэта и историка Питера Корнелиса Хофта.

Когда в 1907-м знаменитый торговец произведениями искусства Джозеф Дювин купил картину у наследников французского коллекционера Родольфа Канна и продал ее миссис Арабелле Хантингтон, вдове американского железнодорожного магната Коллиса П. Хантингтона, никто из участников этой сделки не знал, что они покупают и продают портрет Аристотеля работы Рембрандта, не зная, впрочем, и того, что Рембрандт написал такой портрет.

В 1961 году это полотно обошлось музею Метрополитен в рекордную сумму – 2 300 000 долларов.

В 1653 году в Амстердаме оборотистый ремесленник или лавочник мог вместе с семейством очень неплохо прожить целый год на пять сотен гульденов. На эти деньги можно было купить в городе дом.

Вдовому Рембрандту ван Рейну, купившему дом за тринадцать тысяч гульденов и *очень* неплохо прожившему те десять-одиннадцать лет, за которые его репутация приходила в упадок, а ставшие привычными доходы уменьшались, пятисот гульденов хватило бы навряд ли.

По прошествии четырнадцати лет на нем все еще висел превышавший девять тысяч гульденов долг за дом, который он некогда обязался оплатить в шестилетний срок. Страна воевала с Англией, своим недолгим протестантским союзником в пору долгой революции, направленной против Испании. К этому времени уже стало ясно, что победить Голландии не удастся. В городе объявилась чума. Финансовые затруднения приобрели эпидемический характер. Экономика приходила в упадок, капиталы скудели, а кредиторы становились все настойчивее.

Дом Рембрандта был роскошным городским поместьем голландского покроя, стоявшим в жилом квартале для избранных, на одной из самых широких и модных улиц в восточной части Амстердама, на Ст. – Антониесбреестраат. Слово «breestraat», которым обычно обозначали этот великолепный проспект, так и переводится: «широкая улица».

Дом стоял вплотную к другому, угловому, среди таких же сдержанно элегантных жилищ богатейших бюргеров и чиновных лиц города, из коих некоторые были первыми патронами и поручителями живописца. Когда Рембрандт покупал этот дом, начальные выплаты делались из наследства его жены Саскии, затем к ним добавились собственные значительные заработки Рембрандта – в ту пору Амстердам превозносил его до небес и как живописец он резко шел в гору.

За 1632 и 1633 годы молодой Рембрандт написал, как уверяют, пятьдесят полотен – со времени, когда в 1631 году он, двадцатипятилетний, перебрался из Лейдена в Амстердам, заказы лились на него рекой. Пятьдесят картин за два года – это одна в среднем картина за две недели.

Даже если эти цифры лгут, они лгут весьма впечатляюще, и уж совсем не приходится сомневаться в том, что Рембрандт и Саския, осиротевшая дочь прежнего бургомистра Леувардена, что во Фрисландии, и кузина почтенного торговца произведениями искусства, занимали видное место в городском среднем классе. В Голландии семнадцатого века средний класс и был высшим.

Теперь же Рембрандт оброс долгами, которых не мог заплатить.

Рембрандт, работая над «Аристотелем, размышляющим над бюстом Гомера», нередко размышлял о том, что ему придется либо продать дом, либо занять у друзей денег, чтобы за него расплатиться, и уже сознавал, что занимать придется.

Добавляя все больше и больше черного к мантии Аристотеля и еще больше черноты к фону, состоявшему из неисчислимых темных теней, – Рембрандт любил смотреть, как его полотно погружаются во мрак, – он размышлял и о том, что, назанимав у друзей денег и расплатившись за дом, нужно будет переписать его на малыша-сына, на Титуса, чтобы всё те же

друзья, когда они уяснят наконец, что возвращать занятое он не намерен, не попытались дом захватить.

Он больше не мог брать деньги из наследства Титуса, слишком маленького и потому неспособного даже понять, что отец берет у него какие-то деньги.

Рембрандту было сорок семь лет, он скорым шагом приближался к банкротству.

Саския умерла одиннадцать лет назад. Из четверых детей, родившихся у господина и госпожи Рембрандт ван Рейн за восемь годов их супружества, выжил только последний, Титус.

Аристотель, размышляющий о Рембрандте, размышляющем об Аристотеле, часто воображал, когда лицо Рембрандта приобретало мрачное выражение, схожее по чувству и угрюмому колориту с тем, которое Рембрандт придавал его лицу, что Рембрандт, размышляющий об Аристотеле, размышляющем над бюстом Гомера, размышляет, должно быть, и о скорбях своей жизни с Саскией. Смерть счастливой супруги, с которой ты был счастлив, – не шутка, Аристотель знал это по опыту, не говоря уж о смерти троих детей.

Теперь Рембрандт жил с женщиной по имени Хендрикке Стоффелс, которая пришла в его дом служанкой и которой вскоре предстояло понести от него дитя.

Это Аристотель тоже мог понять.

В своем завещании Аристотель, никогда не пренебрегавший щедростью в отношении женщины, бывшей его любовницей, просил похоронить его рядом с женой.

Аристотель отпустил на волю своих рабов. Его дочь, Пифия, и сыновья, Никанор и Никомас, пережили его. Аристотель с тоской вспомнил счастливую семейную жизнь, которой он некогда наслаждался, и на глаз его набежала слеза. Рембрандт смахнул ее кистью.

В тот год, когда Рембрандт и Саския поженились, каждый составил по завещанию, назначив другого единственным своим наследником.

В 1642 году, за девять дней до своей кончины, Саския переменила завещание, назвав наследником Титуса. В сущности говоря, она лишила Рембрандта наследства, назначив его, впрочем, единственным опекуном и избавив от необходимости держать финансовый отчет перед Палатой по делам сирот.

Женщина поумнее к тому времени уже поняла бы, что управляться с деньгами Рембрандт не умеет. Им владела страсть и к престижу, и к покупке картин, рисунков, скульптур, экзотических нарядов и прочих редкостей самого разного рода; этот живописец, с алчным видом слоняющийся по аукционам и галереям города, стал в них привычным зрелищем.

Когда Саския была еще жива, один ее близкий родич, сохранивший остатки надежд на ее наследство, заикнулся было о мотовстве супругов, и они тут же подали на него в суд за клевету и причиненный оной ущерб.

Торгашеское общество, полагал Платон, склонно к сварливости и сутяжничеству, что особенно справедливо в отношении торгашеского общества, к которому принадлежал Рембрандт.

По гражданскому праву Голландии каждый из супругов владеет половиной общего имущества. Завещав свою долю Титусу, за воспитание которого теперь отвечал Рембрандт, Саския эту самую половину сыну и оставила, когда же собственная Рембрандтова половина сошла на нет, все траты пришлось оплачивать из доли, полученной ребенком.

Из двадцати тысяч гульденов – такова сделанная задним числом оценка величины Титусова наследства – он, став молодым человеком, смог получить меньше семи.

Получив свои деньги, Титус с внушающей уважение сыновней преданностью расходовал их на то, чтобы содержать себя и отца, пока не женился в двадцать семь лет, меньше чем за год до собственной кончины.

У нас имеются причины подозревать, что увязший в долгах Рембрандт, не желая платить кредиторам, тайком продавал картины за границу, тем самым усложнив потомкам задачу отделения подлинных Рембрандтов от поддельных.

Аристотель, проявивший столько предусмотрительности и корректности при составлении своего завещания, временами дивился, о чем думал нотариус, помогавший Саскии ван Эйленбюрг составить его.

Хотя, не переведи она своего состояния на Титуса, ни отцу, ни сыну, как выяснилось в дальнейшем, вообще ничего не досталось бы после того, как Рембрандта официально объявили банкротом.

Аристотель мог, разумеется, слышать после того, как Рембрандт снабдил его ухом и затем, к великому удивлению и веселью философа, прицепил к нему серьгу, которую, будь она сделана из настоящего золота, а не подделана с помощью красок, можно было бы продать на ювелирном рынке Амстердама по цене, значительно превышающей номинальную. И Аристотель слышал достаточно, чтобы понять, что голова создающего его живописца забита далеко не одними только мыслями о том, как бы закончить и это полотно, предназначенное для донна Антонио Руффо, и несколько других, расставленных по студии, над которыми он также работал. В приступах утомления и скуки, или в приливах внезапного вдохновения, или ожидая, пока на каком-то из полотен подсохнет краска, Рембрандт внезапно бросал одно и принимался за другое.

Часто он и не ждал, пока краска подсохнет, но намеренно проходилась новой, набирая ее на почти сухую кисть, по еще мягким участкам, лессируя поверхность, налагая новый густой слой, обогащая разноцветие отражающих поверхностей различными пигментами.

Лучшие годы Рембрандта были позади, а лучшие полотна – впереди, и «Аристотелю», как мы теперь знаем, предстояло стать одним из первых в потоке ошеломляющих шедевров, наполнивших два последних, печальных десятилетия его жизни.

Лучшие свои работы он создал, ведя жизнь неудачника, и меланхолические размышления о деньгах уже начинали с завидным постоянством окрашивать собою выражения тех лиц, которые он писал, даже лиц Аристотеля и Гомера.

– Почему у вас теперь все люди такие грустные? – поинтересовался позировавший для Аристотеля высокий мужчина.

– Они беспокоятся.

– Из-за чего беспокоятся?

– Из-за денег, – ответил художник.

Впрочем, трепетная сосредоточенность этого рода отсутствовала в его собственном лице, которое глядело с висевшего на противоположной стене мансарды надменного автопортрета 1652 года; на нем Рембрандт стоит в своей рабочей тунике, выпрямившись, уперев руки в бока и представляясь ныне вызывающе нестигаемым любому зеваке, который рискнет помериться с ним взглядом в Венском музее истории искусств.

Мучительные размышления он сохранил для портретов других людей.

Есть скромная ирония в том, что созданное им замечательное изображение Аристотеля получило название, под которым мы его теперь знаем, лишь в 1936 году.

Только в 1917-м, через год после того, как были открыты архивы Руффо, картину удалось определенно идентифицировать как ту самую, которую дон Антонио заказал Рембрандту в 1652-м, а человека на ней – как самого что ни на есть Аристотеля.

Ни один из известных нам документов не подтверждает, что бюст изображает Гомера.

Ирония присутствует и в том, что одному из лучших среди наихудших полотен Рембрандта предстояло обрести наибольшую известность и стать именно тем полотном, за которое художника более всего превозносят.

Это групповой портрет восемнадцати изображенных под открытым небом и при дневном освещении вооруженных мужчин, членов отряда гражданского ополчения капитана Франса Баннинга Кока, движущихся в направлении пылающего пятна желтого солнечного света.

Называется она «Ночной дозор».

Стремление некоторых людей к бессмертию, говорит Платон, находит свое выражение в совершении ими деяний, за кои их с благоволением вспоминают позднейшие поколения. Египетские фараоны, желая свершить такое деяние, строили каждый по пирамиде. У американцев последняя порой принимает форму музея. Голландцы заказывали солидные портреты, как правило в черном, и выглядели на них людьми степенными, суровыми и основательными.

Из восемнадцати господ, заплативших по сотне гульденов каждый за привилегию попасть на картину Рембрандта «Отряд капитана Франса Баннинга Кока», по меньшей мере шестнадцать, по нашим оценкам, имели основания для недовольства.

Они заказали официальный групповой портрет наподобие тех, что висели по всему городу, портрет, на котором фигуры представлены формально, как на игральных картах, а лицо каждого, кто для портрета позирует, выглядит большим, ярко освещенным, бросающимся в глаза и мгновенно узнаваемым.

Получили же они картину огорчительно театральную, на которой их раздели, будто актеров, и заставили суетиться, как батраков. Лица у всех маленькие, повернутые в сторону, у кого заслоненные, у кого скраденные теньями. Даже два центральных, выходящих на передний план офицера – сам капитан Франс Баннинг Кок и его лейтенант, Вильям ван Рёйтенбюх, – слишком подчинены желаньям художника, как выразился один современный критик, предсказавший, впрочем, что картина переживет всех своих соперниц.

«Ночной дозор» их пережил.

Это произведение, на которое чаще всего указывают в подтверждение гения Рембрандта, даже по барочным стандартам совершенно ужасно почти во всех достойных упоминания отношениях, включая и замысел художника, направленный на разрыв с традицией. Краски здесь кричащие, позы оперные. Контрасты смазаны, акценты беспорядочны. Караваджо, доживи он до возможности увидеть эту картину, перевернулся бы в гробу.

Она является самой популярной, благо единственной, приманкой Государственного музея в Амстердаме.

В 1915 году некий сапожник, ставший жертвой безработицы, вырезал квадрат из правого сапога лейтенанта ван Рёйтенбюха.

Специалисты, починив сапог, восстановили картину. Предложение раскаявшегося сапожника сделать ту же работу бесплатно власти отклонили.

А в 1975 году бывший школьный учитель набросился на нижнюю часть картины с зазубренным хлебным ножом, прихваченным им из расположенного в деловой части Амстердама ресторана, в котором он только что позавтракал, и проделал в телах капитана Баннинга Кока и лейтенанта Рёйтенбюха вертикальные надрезы. Картина оказалась рассеченной в дюжине мест. Из правой ноги капитана была выдрана полоска холста размером двенадцать на два с половиной дюйма. Злоумышленник заявил свидетелям происшедшего, будто он послан Господом.

– Мне было приказано сделать это, – сказал, как уверяют, учитель. – Я должен был это сделать.

Газеты объяснили его поступок умственным расстройством.

Десять лет спустя учитель наложил на себя руки.

Описание полученных картиной повреждений читается как отчет судебного патологоанатома. Картина получила двенадцать ударов ножом, причем, судя по характеру повреждений, колющие и режущие удары наносились с большой силой. Вероятно, вследствие этого лезвие ножа несколько уходило влево, отчего разрезы получили наклон, направленный вовнутрь полотна, а края их размахрились. Из бриджей Баннинга Кока был вырезан треугольной формы кусок, каковой и выпал из картины на пол.

Бриджи починил портной из Лейдена, а все остальные повреждения устранили профессиональные реставраторы наивысшего калибра.

В запустелых церковках Амстердама суеверные кумушки и поныне шепчутся о том, что в этого вандала вселился дух одного из безутешных мушкетеров, заплатившего сотню гульденов, чтобы его на память потомству изобразили в достойном виде, и обнаружившего, что он обращен в мелкую деталь писанной маслом безвкусной иллюстрации, годной разве что в афиши для оперетки.

Есть и другие, кто уверяет, будто то был сам Рембрандт.

Саския умерла в год «Ночного дозора», 1642-й, и Рембрандт наделил ее чертами резвую девочку, бегущую с освещенным лицом слева направо сквозь толпу мушкетеров. Она умерла тридцатилетней.

То обстоятельство, что именно в год утраты жены состояние Рембрандта пошло на убыль, следует, видимо, считать не более чем совпадением – вот и биографы его не приводят свидетельств в пользу противного.

3

Аристотель, изгнанный из Афин в последний год его жизни, поселился во владениях своей матери в Эвбее и писал завещание. Ему было без малого шестьдесят два. Аристотель чувствовал, что это последний год его жизни, и часто размышлял о Сократе, за три четверти века до того сидевшем в тюрьме, ожидая дня казни. Аристотель сбежал из Афин, спасаясь от суда.

Снова и снова его беспокоил желудок. Аппетит шел на убыль. Он, знавший так много, не знал, в чем тут дело. Его отец, умерший еще в дни Аристотелевой молодости, был врачом. Аристотель же был ученым-первопроходцем, написавшим больше научных трудов, чем имелось в его распоряжении для исследовательской работы.

Среди многого, что он узнал к концу жизни, было и то, что не знает он куда больше.

Он, разумеется, не знал также, что в Голландской республике семнадцатого века, в Амстердаме, Рембрандт напишет его портрет и что почти две сотни лет практически никто в мире не будет знать, чей это, собственно говоря, портрет.

Зато о Сократе у Аристотеля имелось ясное представление.

При этом практически все, что он знал о Сократе, исходило от Платона, который, как он часто теперь думал, отличался скорее умением принимать желаемое за истинное, нежели глубиной, и не всегда был надежен по части приводимых им фактов.

Почти все остальное было изложено историком, биографом и воином-наемником Ксенофонтом, который, проведя последние сорок лет жизни изгнанником из демократических Афин, тоже не всегда был надежен, в том числе и как воин.

Ксенофонт также описал суд над Сократом и его казнь. Однако когда все это стряслось, Ксенофонт находился в Персии. Прежде чем он смог вернуться, его изгнали за службу спартанцам в кое-каких военных предприятиях, в которых Афины поддерживали другую сторону.

У нас имеются еще фрагменты из писаний Эсхина Сократика и Антисфена Киника, которые подтверждают, что Сократ действительно существовал, и которые вполне могут быть подделкой.

Затем имеются «Облака» Аристофана, в которых Сократ осмеян как софист, – это самое раннее из упоминаний о нем, какие мы знаем. Комедия, написанная за четверть века до того, как Сократ предстал перед судом, свидетельствует о том, что он был широко известен в Афинах еще в те времена, когда Платон и Ксенофонт пребывали в дитятах, слишком малых, чтобы уразуметь, кто он такой.

Аристофан же, с другой стороны, был его современником и другом, он мог писать о Сократе, основываясь на личном знакомстве, которым другие похвастаться не могли.

Но с другой опять-таки стороны, Сократ никогда не был софистом.

Однако судьи помнили пьесу, а в философии не разбирались, вот они и приговорили Сократа к смерти, полагая, что он софист.

Хотя не это было главной причиной. Горестные последствия капитуляции перед Спартой включали в себя и чад политической неприязни, оставленный его прежней дружбой с Алкивиадом, изменником, и Критием, тираном, да и терпимость к сатирическому инакомыслию, которым славился Сократ, истошилась, благо многим оно представлялось не менее предательским, чем само предательство, только еще более неприятным.

Софисты учили за деньги. Сократ, выступая в суде, привел оригинальное доказательство того, что он никогда за деньги не учил и всю жизнь радел о благе общества: свою бедность.

На судей оно впечатления не произвело.

К той поре, как мы теперь знаем, блеск и величие Греции, олицетворением коих более века служили Афины, пришли к концу. Война со Спартой была проиграна, империя распалась, Эсхил, Софокл и Еврипид умерли.

Ко времени, когда Платон основал свою Академию, а молодой Аристотель приехал на юг, чтобы стать его учеником, от этого блеска осталось и того меньше, собственно говоря, от него мало что уцелело уже к рождению Платона. Первые свои двадцать четыре года Платон прожил в городе, втянутом в войну, которой он выиграть не мог и в которой большинство людей, блеском происхождения равных Платону, сражаться не желали.

Когда Платон родился, Сократу уже перевалило за сорок.

Ему было за шестьдесят, когда они познакомились, так что Платон не мог дольше десяти лет знать человека, коему предстояло вдохновить его на пожизненное служение мысли, человека, гибели которого предстояло наполнить его горьким, граничащим с ненавистью разочарованием в политических свободах и материалистической ориентации демократического города, накрепко связанного с двумя этими именами.

Век Перикла, ныне почитаемый нами золотым веком Афин, завершился – буквальным образом – со смертью Перикла на втором году двадцатисемилетней войны, в ходе которой этот самый разумный и конструктивный из политических лидеров неуклонно вел свой город к полному поражению, безоговорочной капитуляции и утрате мощи и империи. То был год моровой язвы, завезенной морем с верхнего Нила в обнесенный стеною город, второе лето подряд осаждаемый с суши войсками Спарты и ее союзников. Перикл, и без того истомленный парламентскими препонами, чинимыми ему консервативной аристократией, с одной стороны, и радикальным деловым сообществом – с другой, не говоря уже о череде личных трагедий, в конце концов и сам оказался среди десятков тысяч жертв этой болезни и умер.

Придерживаясь разумной военной стратегии, которой, по его соображениям, предстояло всего за год привести город к победе и почетному миру, он распорядился согнать всех, кто жил в окрестностях Афин, за Длинные стены, что окружали город и тянулись на четыре мили, к портам Пирея. Множество людей ютились в палатках, разбитых на улицах, и помирали в них. Со стен, защищавших их от спартанцев, эти люди видели на многие мили вокруг, как предают огню их дома и посева. Радости никто не испытывал. Периклу было от чего томиться.

Перикл, аристократический лидер радикальной демократической партии, не принадлежал к тем фигурам греческой истории, на которые Платон, аристократ, или Аристотель, представитель профессиональной элиты, могли бы оглядываться без значительной доли неприязни и неодобрения.

В последний свой час, лежа в постели, Перикл слушал, как родственники и друзья, думая, что он уже впал в беспамятство, перебирают его возвышенные достижения: девять трофеев, установленных им как стратегом в честь военных побед, здания и скульптуры великой красоты, подобной которой мир еще не знал, расцвет литературы и интеллектуальной жизни, расширение империи, развитие торговли и увеличение дани от подчинившихся Афинам городов и островов. Перикл открыл глаза.

– Почему же вы ничего не говорите о самом прекрасном и самом великом из моих притязаний на славу? – неодобрительно прервал он их разговор. – Ведь из-за меня никто из афинян не облачился в траур!

Они не стали ему возражать, потому что это было неправдой.

4

Аристотелю было лет семнадцать-восемнадцать, когда он приехал с юга, где отец его состоял царским врачом при дворе в Пеллах, в Македонии, чтобы поучиться у Платона в городе-государстве Афинах.

Академия Платона была основана двадцатью одним годом раньше. Уже вышли в свет платоновские диалоги Сократа, которые молодой человек проглотил с восторгом и пылом. Ему хотелось узнать больше.

Платону перевалило за шестьдесят, он уже махнул рукой на поиски истины.

Время шло, аналитическая мощь Аристотеля зрела, и он с разочарованием начинал понимать, что Платон произволен и причудлив в своих пристрастиях: им владела мистическая вера в божественность чисел и в теорию идей как реальностей, не зависящих от человеческого сознания, теорию, ведущую туда, куда Аристотелю идти никак не хотелось.

Этим двоим было далеко не всегда так уютно друг с другом, как поначалу надеялся Аристотель, хоть он и остался в Академии на двадцать лет, до самой смерти Платона, постигшей того в восьмидесятилетнем возрасте. Затем он покинул Афины. Руководителем школы – пост, который, возможно, желал занять Аристотель, – стал родственник Платона, мыслитель весьма посредственный. Аристотель вернулся двадцать лет спустя, чтобы основать свой Ликей. К этому времени в городе правили македоняне, сначала Филипп, потом Александр.

Платон чрезвычайно ценил Аристотеля. Он прозвал его «умником» и «чтецом». Платон питал слабость к прозвищам. «Платон» – это ведь тоже прозвище: он был широколоб, широкогруд и в молодости, говорят, преуспевал в борьбе. Так что Платон – никакой не Платон, а вовсе Аристокл, сын Аристана. Отец Платона уверял, будто род их идет от Кодра, царя афинского, существовавшего только в преданиях. Мать Платона происходила по боковой линии от законодателя Солона.

В семье, породившей также его дядю, не то двоюродного дедушку, Крития, не было недостатка в богатстве. За один-единственный год пребывания у власти дядюшка Платона, Критий, сумел заслужить почетное звание самого кровавого и корыстолюбивого тирана за всю историю города.

Когда-то давно Критий ходил в учениках Сократа.

С тех пор как харизматический Алкивиад обратился в изменника и переметнулся в Спарту, не было афинянина, которого столь откровенно боялось и ненавидело столь подавляющее большинство населения города.

Алкивиад тоже считался последователем Сократа.

Прошло немалое время, прежде чем Аристотель понял, что в прозвищах, до которых был так падок Платон, таится раздраженное неодобрение, весьма отличное от добродушной иронии, каковой он наделил личность Сократа в своем «Государстве» и в многочисленных скетчах.

Аристотель с Платоном разнились и в философии, не только в возрасте и темпераменте.

Глава Платона витала в облаках, мысли его блуждали по небесам, похоже, он проповедовал, что единственные вещи, в которые человек может проникнуть взглядом, суть те, относительно которых ничего другого установить невозможно.

Аристотель твердо стоял на земле, и взгляд его проникал всюду. Ему хотелось побольше выяснить обо всем, что он видел.

Платон отвергал видимое: достигнуть знания можно лишь в отношении вещей вечных, а на земле ничего вечного не обретается. Он напирал на геометрию. Над входом в его Академию было начертано: «Да не войдет сюда никто из не знающих геометрии».

Аристотель же тяготел к определению, объяснению, систематическому исследованию и доказательству, даже в геометрии.

Платон, человек пожилой, предпочитал проводить уроки сидя.

Аристотель, человек молодой, будучи увлеченным новой идеей, не мог удержаться от ходьбы и подскакиваний. «В движении есть движение», – выпалил он однажды, когда Платон с саркастической вежливостью предложил ему попробовать посидеть спокойно. Есть также и восторг. Движение, объявил он однажды о своем открытии, убыстряет пульс, да и сердце начинает биться быстрее.

Интерес Аристотеля к биологии, физике и прочим естественным наукам и наукам об обществе, возможно, произрастал из научных склонностей его отца.

– Вот у меня в ладони жук, – заявил он как-то раз, – с цельным овальным покровом и восемью сочлененными лапками, а здесь, в другой ладони, я держу второго жука, светлее оттенком, с двенадцатью лапками, и покров у него подлиннее и разделен на части. Можешь ли ты объяснить мне различие между ними?

– Да, – ответил Платон. – Не существует такой вещи, как жук, ни в одной твоей ладони, ни в другой. Не существует и такой вещи, как ладонь. То, что ты полагаешь жуком и ладонью, суть лишь отражения твоего осознания идей жука и ладони. Существует только идея, она существовала еще до того, как эти вещи обрели бытие. Иначе как бы они его обрели? А форма идеи, разумеется, всегда является вечной и реальной и никогда не меняется. То, что ты держишь в том, что представляется тебе твоими ладонями, суть лишь тени этой идеи. Ты разве забыл пример с пещерой, приведенный в моем «Государстве»? Перечитай его еще раз. Различие двух твоих жуков есть достаточно ясное доказательство того, что ни тот, ни другой реальными не являются. Отсюда вытекает, что исследованию доступна лишь форма или идея формы, она же есть нечто такое, о чем мы никогда не сможем узнать больше того, что уже знаем. Только идеи и достойны размышлений. Ты нереален, мой юный Аристотель, я нереален. Сам Сократ был лишь подражанием себе самому. Все мы – только несовершенные копии формы, которая и есть мы. Я знаю, ты меня понимаешь.

Аристотель не стал в тот раз выпрашивать, сколько ног у идеи жука, на которую сослался Платон, – восемь или двенадцать, или была ли идея Сократа, копией коей он являлся, идеей Сократа молодого или старого. Если обоих, то платоновская теория идей, предвидел он, развалится вследствие самопротиворечивости и немедля растворится в пустоте невразумительности.

Под конец жизни Платон стал аскетом во всем – на пирах он из презрения к Диогену ел лишь оливки и фиги. Он снисходительно взирал на увлечение Аристотеля одедами, перстнями и женщинами.

Аристотель не хотел обнаруживать несогласие с учителем, пока тот еще жив, вот ему и пришлось двадцать лет, почти до сорока собственных, дожидаться смерти Платона.

К тому времени Аристотель осознал, что идеал царя-философа, проповедуемый в «Государстве», попросту глуп, и его огорчало, что Платон до самой старости преследовал совершенно непрактичную цель – посредством образования обратить деспота в философа. Ради этого донкихотского предприятия Платон трижды ездил на Сицилию. Две поездки из трех закончились тем, что он едва унес оттуда ноги.

Платон сильно переоценивал преобразующую силу образования, равно как и спрос на знание и разумение в общественных делах.

Платону следовало бы помнить, думал в изгнании Аристотель, что нравственное учение Сократа не оказало благого влияния ни на Алкивиада, ни на Крития и что взгляды, которые он

пытался внушить этим зловредным людям, едва ли не легли в основу враждебности, пробужденной Сократом в его согражданах из среднего класса.

Аристотель не оказал большого влияния на Александра, да и не питал философической уверенности в том, что сумеет оное оказать.

Однако Платон не изменил своей мечте.

До знакомства с Аристотелем Платон побывал на Сицилии дважды. И вот теперь, уже семидесятилетним стариком, с изумлением увидел Аристотель, он снова отправился в Сиракузы ради все той же безнадежной затеи – вторично попытаться внушить царственную добродетель развратному тирану-правителю Дионисию II.

Едва прибыв туда, он стал объектом подозрений и скрытых насмешек в революционной дворцовой интриге, которая зрела вокруг, оставаясь незаметной лишь для него, философа из Афин.

Прежде чем ему разрешили уехать, он несколько месяцев просидел под домашним арестом.

Самое большее, чего Платон достиг за три своих путешествия, это то, что он выпестовал в Сицилии недолгую моду на геометрию. Жившие в Сиракузах сицилийские греки баловались геометрией, прежде чем напиться, завалиться в постель и предаться блуду.

Потерпев это окончательное фиаско, Платон впал в еще большую меланхолию и подавленность. Аристотель помалкивал, но понимал, что его теперь обучает философии человек, лишившийся иллюзий и озлобившийся, отказавшийся в конце концов от надежд на улучшение рода людского.

Перед смертью Платон трудился над «Законами» – мрачным, мизантропическим проектом тоталитарного общества, все члены коего являются узниками косной ортодоксии, которая не потерпела бы мыслителей, подобных ему и Сократу, и в которой кары за разного рода пространственные прегрешения были безжалостными.

Скажем, первое проявление нечестия каралось пятью годами тюрьмы. Второе – смертью без погребения.

Именно нечестие составляло один из двух пунктов обвинения, выдвинутого против Сократа.

Это же обвинение, предъявленное Аристотелю, заставило его за год до смерти бежать из Афин.

В «Законах» Платона торгаши – то есть люди, которые покупают по одной цене, а продают по другой, более высокой, – являются объектом стойкого презрения.

В этом новом идеальном платоновском обществе интеллект мог уцелеть лишь в качестве основного архитектурного элемента общественного порядка, при котором всякий иной интеллект ставился вне закона.

Аристотель сознавал то, чего не осознал Платон, – политика и благие намерения несовместимы.

Платону, критически полагал Аристотель, следовало бы помнить это хотя бы по защитительной речи, которую он приписал Сократу в своей «Апологии». Сколь долго, вопрошал, по словам Платона, Сократ у судей перед тем, как они осудили его на смерть, человеку, истинная цель которого – благо его страны, позволили бы остаться в живых, попади он в правительство?

Политика несовместима и со знаниями.

Правитель, вдохновленный любовью к философии, о которой говорили Сократ и Платон, мало имел бы времени для занятий государственными делами, да ему и не позволили бы долго ими заниматься. Интеллектуал в политике – не более чем очередной оратор.

Пребывая в изгнании, Аристотель с неослабевающим весельем вспоминал ту ночь, когда Филипп, царь Македонии, в тот раз для разнообразия трезвый, пересек огромный зал в Пелле

и присоединился к небольшой кучке людей, слушавших Александра, с редкостным искусством игравшего на лире. Филипп молчал, пока не отзвучала музыка.

– И тебе за себя не стыдно? – с мягким укором спросил он сына, которого мог считать – а мог и не считать – наследным главой централизованного правительства, уже создаваемого Филиппом в разъятой на части земле независимых греческих городов, никогда никаких правительств не ведавших. – Тебе не стыдно, что ты умеешь так хорошо играть?

Царю достаточно наслаждаться, слушая музыку, хотел сказать он, поскольку человек, который очень хорош в чем-то одном, навряд ли годен для другого.

К той поре у двора имелись причины гадать, решил ли уже Филипп, кого он назначит наследником. Он отставил мать Александра, Олимпию, буйную дочь эпирского царя, управлявшуюся со змеями в диких ритуалах, которым она с упоением предавалась, и хваставшую в припадках варварского безумия, будто она даже совокупилась с одной из них, чтобы зачать Александра. Не так давно Филипп получил сына от новой жены, Клеопатры, от которой он, похоже, был без ума. Многим недовольным аристократам, так или иначе связанным с семьей его отвергнутой жены, Клеопатра казалась чересчур инфантильной, чтобы позволить ей стать царицей.

Александру, когда он начал учиться у Аристотеля, было тринадцать. Они провели вместе три года. Как обнаружили оба, этого хватило, поскольку Александр научился у Аристотеля всему, что ему требовалось, дабы стать тем, кем он стал.

Не будь он Александром, сказал, как сообщают, Александр, уже ставший царем – Диоген как раз попросил его отойти в сторонку и не заслонять собой солнце, – он стал бы Диогеном.

– Будь я Александром, – сказал ему советник, когда в выстроившееся на поле войско доставили от царя Персии мирные предложения, – я бы эти предложения принял.

Я бы тоже их принял, откликнулся Александр, не будь я Александром.

Александр любил Гомера, уверяют даже, будто он взял с собой в Азию отредактированную Аристотелем «Илиаду» и, как опять-таки уверяют, всегда держал ее под подушкой.

В шестнадцать он был регентом в отсутствие Филиппа, а в восемнадцать, в битве при Херонее, встал против рядов фиванцев, к тому времени одолевших Спарту, и возглавил бросок кавалерии, уничтоживший Священное войско.

Александру исполнилось двадцать лет, когда Филипп пал от руки убийцы.

Ему исполнилось двадцать один, когда он покинул Грецию, выступив в волнующий воображение триумфальный, приведший к баснословным завоеваниям поход, до возвращения из которого он не дожил.

Он перешел Геллеспонт, и нога его никогда более не ступила на родную землю.

Тридцати трех лет он умер в Вавилоне – не то от лихорадки, не то от отравы – предзнаменования, получаемые при жертвоприношениях, уже несколько времени сулили недоброе.

Филипп тоже скончался слишком рано, его, сорокашестилетнего, убил молодой телохранитель, а случилось это на свадебном пиршестве, которое Филипп устроил единственно ради того, чтобы сплотить свои силы и окончательно обезопасить себя от врагов.

Со дня на день он собирался объявить себя богом.

Македонские пиршества, как хорошо знал Аристотель, отсидевший немалое их число, с обычными для них подачей неразбавленного вина и вспышками примитивного гнева, всегда отличались непредсказуемостью исхода.

Весть о кончине Александра достигла Афин в 323 году до н. э., немедленно возбудив волну антимакедонских настроений и породив восстание против македонского ига, причем Аристотеля, уже двенадцать лет кряду преподававшего у себя в Ликее, первым делом обвинили в нечестии.

Аристотель сбежал, заявив, – подразумевая казнь Сократа, – что не намерен позволить Афинам вторично согрешить против философии.

Он хотел сказать, что не намерен представлять перед судом.

Проведя последний свой год в изгнании, Аристотель уже не питал особого уважения к городу, прославленному в его времена как место, в котором зародились литература и наука.

Если не считать драматических авторов, ни одно из великих поэтических имен, первыми приходящих на ум, не принадлежит афинянам, то же относится к математикам, а если оставить в стороне Сократа и Платона – то и к философам. Лишь этих двух философов и породили Афины. Один никогда ничего не писал, другой почти ничего не написал от своего имени.

Как много иронии в том, что Аристотель, всегда подчеркивавший роль методологии наблюдения и проверки, оказался в итоге арбитром в решении вопроса о том, где кончаются мысли Сократа и начинаются – Платона. Ему оставалось только строить догадки. Платон не облегчил решения этой задачи, заявив в своем «Седьмом послании», что не написал и никогда не напишет ни одного трактата, в котором излагались бы его собственные воззрения!

К тому времени Аристотель знал достаточно, чтобы знать, что Платон привирает.

Аристотелю представлялось очевидным, что Платон тайком протащил в своего «Федона», в «Пир» и в «Тимея» философские теории, которых невразумительный Сократ, театрально изображенный им и в этих трудах, и в «Государстве», разделять никак не мог, а отсюда следовало, что принадлежат они самому Платону.

Истину Аристотель ставил выше, чем дружбу, о чем он неизменно сообщал в Ликее, приступая к обсуждению идей своего прежнего, глубоко им чтимого ментора. К той поре он ставил воззрения Сократа много выше воззрений Платона, хоть и не мог бы с уверенностью сказать, в чем состояли и те и другие.

– Сократ не верил в теорию идей, да и в теорию души тоже, в той мере, о которой утверждает Платон в «Федоне» и в «Пире», – твердил он ученикам, прогуливаясь с ними по Ликее; это же утверждение сохранилось во множестве его подготовительных заметок к лекциям, каковые столетия спустя свели воедино и издали под видом будто бы написанных им книг люди, не имевшие к нему никакого отношения.

Хотя знать об этом наверняка Аристотель не мог, поскольку между рождением Сократа и его собственным пролегло без малого сто лет. Они никогда не встречались. Сократа казнили за пятнадцать лет до рождения Аристотеля, а когда Аристотель приехал в Афины, Сократ был мертв уже более тридцати лет. Старик обратился в воспоминание. Достоинство, безмятежная разумность и нравственная красота Сократа описаны в начале и в конце платоновского «Федона» с такой выразительностью, что всякий, прочитавший этот диалог, вряд ли сумеет скоро о них забыть.

Правда, Платон, как ясно дает понять Платон, при кончине Сократа не присутствовал.

Платон вообще не присутствует ни в одном из его диалогов.

Он появляется в них один-единственный раз, да и то для того, чтобы объяснить свое отсутствие: в день смерти Сократа, говорит Платон, он, больной, лежал у себя в доме.

Сократ же не оставил ни единого написанного им слова. Не напиши о нем Платон, мы ничего бы толком о Сократе не знали. Не напиши он о Сократе, мы бы и о Платоне знали немногое.

Впрочем, Платон, как говорит у него Сократ, входил в число его судей, и, вероятно, Сократ говорит в данном случае правду.

В число этих судей входил и Асклепий, честно признавшийся во время допроса, происшедшего на предварительном слушании – перед тем как Асклепию предъявили обвинение, – что опустил свой камушек за Сократа, хоть он и понимал, что такая честность доброй службы ему не сослужит.

Анит, громогласный глашатай стабильности, он же инициатор обоих обвинений и немаловажная, как и Асклепий, фигура в афинской кожевенной торговле, заявил, что никак не

возьмет в толк, по какой причине честный афинский предприниматель мог бы не пожелать Сократу смерти.

– Стало быть, ты либо нечестен, либо врешь.

Судьи не поверили Асклепию, когда тот сказал, что это слишком сложно для его разума.

Судьи подозревали его в том, что он пытается возбудить их подозрения.

С чего бы он стал говорить правду, если он и впрямь говорит правду, когда говорит, будто говорит правду?

С чего бы это человек, которому нечего скрывать, вдруг отказался солгать?

Он-де не понимает, какой, собственно, вред причинил Сократ кому бы то ни было.

Да речь вовсе и не об этом, раздраженно оборвал его Анит. Речь о том, что он, Асклепий, отдал свой голос за спасение человека, обвиненного в преступлениях.

Асклепий проникся уважением к Сократу за его военные заслуги при осаде Потидеи, при поражении под Делием и в особенности при попытках отнять Амфиполис у спартанского генерала Брасида, когда Сократ, уже сорокашестилетний, вновь отправился биться за свой город. Асклепий не понимал, какую пользу могли принести суд и казнь, совершенные над человеком, дожившим до Сократовых лет.

– Что же, господа, если бы вы немного подождали, – вспоминал Аристотель речь, произнесенную у Платона Сократом, которого суд только что приговорил к смерти от цикуты, – тогда бы это случилось для вас само собою. Подумайте о моих годах, как много уже прожито жизни и как близко смерть.

Ему было семьдесят лет.

II В Голландии

5

Когда умерла Саския, Титусу было девять месяцев, и Рембрандту понадобилась женщина, которая жила бы под его крышей, ухаживая за младенцем и помогая по дому.

Мы не знаем, как скоро после поступления к нему на службу Гертджи Диркс, вдова трубача, стала спать с ним или как скоро она надела драгоценности Саскии, которые отдал ей Рембрандт. Уверяют, что они принадлежали Титусу.

Или сколько времени понадобилось родичам Саскии, чтобы заметить это и рассердиться.

Среди упомянутых родичей был и художественный агент Рембрандта, Хендрик ван Эйленбурх, в чьем доме на Бреетстраат Рембрандт некогда жил.

Зато мы знаем, в каком году Гертджи подала на него в суд за нарушение обещания жениться – это случилось после найма им новой служанки, Хендрикье Стоффелс, заменившей Гертджи в сердце Рембрандта, – и в каком году Рембрандт, вступив в тайный сговор с ее братом, добился, чтобы Гертджи упрятали в исправительное заведение, надо полагать, по причине ее аморальности и умственного расстройства, вызванного тем, что процесс против Рембрандта она проиграла.

Суд обязал Рембрандта ежегодно выплачивать на ее содержание двести гульденов.

Отчаянные попытки частным образом договориться с нею до суда провалились: Рембрандт согласился поддерживать ее и выкупить драгоценности, которые она успела заложить, при условии, что она не заложит их заново и не изменит своего завещания, по которому все эти драгоценности должны были достаться Титусу. Возможно, этого хватило для умиротворения родичей Саскии.

Она заложила их заново.

После «Ночного дозора» прошло шестнадцать лет, прежде чем Рембрандту вновь заказали групповой портрет, – это способно сказать нам нечто о враждебном приеме, встреченном первой работой, но не многое о затруднениях, испытываемых им в Голландии.

У нас не имеется сведений о том, что после женитьбы Рембрандт хотя бы раз выехал за пределы Голландии.

Аристотель, чья способность к наблюдению, классификации, сопоставлению и построению заключений по-прежнему оставалась безупречной, мог усмотреть параллели между Сократом, ожидающим казни, и Рембрандтом, ожидающим банкротства.

Аристотель, названный за такие его сочинения, как «О душе», «О сознании и здравомыслии», «О памяти и воспоминаниях», «О сне и пробуждении», «О сновидениях» и «О жизни», отцом психологии, не видел ничего пугающе ненормального в том, что некоторые люди предпочитают смерть позору и разорению и что многие до его появления на свет и после прибегали к самоубийству, чтобы не претерпеть и того и другого.

Аристотель мог усмотреть и сходство между Голландией, в которой он теперь воскресал на портрете, и древними Афинами, какими они были до его рождения и о каких он многое слышал, читал и писал, ибо эта крохотная, амбициозная нация мореплавателей, повсюду учреждавшая свои монополии и сферы влияния, казалось, вечно пребывала в ссоре со всем прочим миром.

К тому времени Абель Янсон Тасман уже, разумеется, отплыл курсом на восток через Индийский океан в Тихий, открыл Новую Зеландию, обогнул Австралию, установил, что это

континент, и нанес на карту – на его северо-западном берегу – Новую Голландию, еще один заморский торговый форт Голландской республики.

За Атлантикой, по другую ее сторону от Европы, на восточном побережье Северной Америки располагалась голландская колония Новые Нидерланды, а в западной Африке голландцы добрались до Анголы, где добывали рабов, весьма полезных при выращивании и рафинировании сахара на бразильских плантациях, которые Голландия отняла у Португалии.

И Голландия, и Афины вели хлебную торговлю с Россией: Голландия через Балтику, Афины через Геллеспонт, Босфор и греческие города Византии, а там, переплыв Черное море, добирались и до Крыма, где закупали пшеницу, рис и ячмень, без которых город не смог бы выжить. Чтобы держать эти пути открытыми, Афинам часто приходилось воевать.

Афинские купцы торговали пшеницей всюду, где цены были повыше.

Впрочем, между Сократом и Рембрандтом имелись и различия, которых наш взыскательный философ, додумавшийся до определения определений, никак не мог игнорировать.

Подобно большинству афинских граждан, не обремененных работой, Сократ большую часть каждого дня проводил под открытым небом.

Подобно большинству голландцев, Рембрандт работал почти безостановочно и практически все время проводил под крышей.

Погода в Голландии не благоприятствовала жизни на вольном воздухе и долгим беседам в той мере, в какой склоняла к ним погода Афин, где на год в среднем приходится триста солнечных дней.

В Голландии их вообще не бывает.

Рембрандт жил в доме, а работал в мансарде, заполненной учениками, платившими ему за уроки, и набитой произведениями искусства – его собственного и покупными: причудливыми одеждами, оружием, украшениями; все это он фанатично собирал более двадцати лет, с тех пор как перебрался в Амстердам.

Вскоре всему имуществу Рембрандта предстояло пойти с молотка, включая и бюст Гомера, использованный в качестве натурщика для бюста Гомера, в который он на глазах у Аристотеля с таким ошеломляющим мастерством вдыхал с помощью красок жизнь.

Грекам и не снилось, что возможны чудеса, подобные происходившему на холсте, и что красота столь трогательная может исходить от человека, не блещущего воображением и банального во всех иных отношениях.

Сократ и Платон этого не одобрили бы.

Живопись представляла собой одно из миметических искусств, каковые эти философы ставили ниже прочих, считая их подражанием подражанию. Занятия живописью, подобно занятию поэзией и музыкой, строго ограничивались цензорами в первой из деспотических утопий, предложенной Платоном в «Государстве», и почти полностью запрещались во второй из его деспотических утопий, обрисованной в «Законах».

Сократ лишь поглумился бы над этим выполненным на холсте красочным подражанием гипсовой либо каменной копии с мраморного подражания внешнему облику человека, которого никто не знал и никогда не видел и о самом существовании которого не имелось достоверных свидетельств, письменных или устных. Сократ покатылся бы со смеху, увидев длинное лицо Аристотеля и его несусветное одеяние.

Для теперешнего же Аристотеля картина, частью которой стали он и Гомер, была чем-то большим, нежели просто подражание. Она обладала собственным неповторимым характером, не обладая при этом никаким предбытием, даже в платоновском царстве идей.

Пока Аристотель наблюдал за художником, тот добавил оливково-бурого и зеленого к белым рукавам стаккоса, и рукава остались белыми!

Он провел сухой кистью, вновь взяв на нее немного тусклых пигментов, по еще мягкой краске, и внезапно ткань обрела складки, одежда начала отражать свет и тон ее стал богаче.

Он прошелся короткими ударами толстой кисти поверх длинных мазков, нанесенных тонкой, оставляя следы щетины на поверхности, делая ее более грубой и плотной. Кончиком тонкой и нежной кисти он любовно изобразил мешки под глазами Аристотеля и морщины на его лбу.

Он наложил поверх тяжелых слоев краски побольше минерального лака, углубляя и обогащая блеск драгоценных камней. С помощью крошечных вкраплений белого он сообщил золотистый блеск длинной, тяжелой цепи Аристотеля. И, словно вдохновленный внезапной мыслью, сложил слева лесенкой книги, резко очертив геометрическую границу картины там, где никакой границы доселе не было, – вертикальную параллель голове и шляпе Аристотеля и бюсту Гомера. Он переносил медальон с лицом Александра с места на место, пока тот не повис на цепи в точности там, где ему требовалось; он снова и снова то увеличивал, то уменьшал поля Аристотелевой шляпы.

То, что он творил с бюстом Гомера, было непостижимым откровением для человека, любовавшегося в древности написанным Апеллесом портретом Александра.

Переводя взгляд с тусклой мазни, покрывавшей палитру голландца, на вибрирующие тона стоявшей на столе статуи, Аристотель следил за чудом преображения. Добавив угольно-бурого к ее кремовым тонам, Рембрандт даровал Аристотелю иллюзию плоти в неживом извращении человека, который, казалось, наливался теплом бессмертной жизни под ладонью философа. Рембрандт одел Гомера несколькими простыми мазками – широкие и плоские, они создали на его одеянии темноватые складки.

Для Аристотеля оставалось загадкой, как может человек столь бесталанный обладать таким гением.

Аристотель, размышляя, смотрел мимо Гомера. Гомер, безглазый, таращился на Аристотеля.

Аристотель был поражен до того, что только дивился, почему же Рембрандт не написал до сих пор живого Гомера вместо статуи.

А неплохая мысль, решил Рембрандт, и лет восемь спустя, когда Аристотель уже обосновался в сицилийском замке, отправил дону Антонио Руффо на предмет размышлений наполовину законченное изображение Гомера, диктующего писцам, а с ним и второй выполненный для дона Руффо заказ – поясной портрет Александра.

Гомера Руффо вернул для завершения, сопроводив его гневной жалобой на то, что Александр состоит из четырех сшитых вместе кусков: он был уверен, что его одурачили, используя уже готовый головной портрет, мошеннически увеличенный до оговоренных в контракте размеров.

Зная Рембрандта, мы не знаем, насколько ошибся дон Руффо.

Известный лишь в переводе бесцеремонный письменный ответ Рембрандта на жалобу его покровителя обошелся бы собирателю рукописей в немалую сумму, если бы удалось отыскать или подделать оригинал.

Ныне «Александр» то ли висит, то ли не висит в Глазго, а «Гомер», поврежденный огнем и обрезанный до размера, позволившего вместить лишь главного персонажа и руку одного из писцов, пребывает в музее Морица в Гааге.

Нью-йоркскому музею Метрополитен пришлось, чтобы заполучить «Аристотеля», перебивать цены, предлагаемые Кливлендским художественным музеем и питсбургским Институтом искусств Карнеги.

Сократ и Рембрандт закончили жизнь бедняками.

Сократ ничем не владел, никому не был должен и потому не расстраивался.

Рембрандт горевал отчаянно.

Он незаконно пользовался крохотным наследством, оставленным его дочери второй из двух служанок, ставших его любовницами.

Титус умер за год до Рембрандта. То небольшое, чем он владел, перешло к его беременной жене, обвинившей Рембрандта в том, что он и из этого кое-что утянул.

Одно из поздних полотен Рембрандта – это автопортрет смеющегося художника. Он способен разбить человеку сердце. Возможно, что он написан мастихином. В настоящее время автопортрет находится в Кельнском музее.

Попробуйте купить его за миллион долларов, ничего у вас не выйдет.

В ранние его дни Сократу хватало средств, чтобы нести военную службу гоплитом, а этот ранг требует обзаведения доспехами и оружием за собственный счет. В поздние его дни у него только и осталось, что жена и трое детей. В разговоре с одним из друзей он сказал, что если бы нашелся покупатель, то он, пожалуй, продал бы все, что у него есть, вместе с домом за пять мин.

– Живешь ты так, – однажды сказали ему, – что даже ни один раб при таком образе жизни не остался бы у своего господина. Еда и питье у тебя самые скверные. Плащ ты носишь не только скверный, но один и тот же летом и зимой. Ходишь ты всегда босой и без хитона.

– Попытайся понять, – объяснил Сократ, – по моему мнению, не иметь никаких нужд есть свойство божества.

Он говорил, что кажется себе богачом, когда, проходя по рыночной площади, пересчитывает вещи, без которых, как он понимает, вполне можно жить.

Его отношением к бедности гораздо проще восхищаться, чем оное разделить.

Что касается жены Сократа, Ксантиппы, то о ней можно получить сведения, правда, не очень надежные (из книги Диогена Лаэртского «О жизни и изречениях знаменитых философов» и Ксенофоновых «Воспоминаний о Сократе»), сводящиеся к тому, что она обладала сварливым нравом и рыскала за мужем по всей рыночной площади, чтобы разодрать на нем плащ и выбрать его при всех за то, что в доме ничего нет, даже его самого. Порядочная, свободнорожденная афинская женщина носа не высовывала из дому, если могла без этого обойтись, и отсутствие у жены Сократа раба, который мог отправиться на рынок и проделать все вышеописанное за нее, свидетельствует о крайности, до которой был доведен ее дом.

Когда Сократа сочли виновным, обвинители потребовали его смерти.

Сократ не пожелал воспользоваться правом испросить менее суровое наказание – заключение в тюрьму либо изгнание.

Остается еще денежный штраф, не без некоторой сухости сказал Сократ. «Разве если вы назначите мне уплатить столько, сколько я могу, – предложил он. – Пожалуй, я вам могу уплатить мину, ну столько и назначаю».

Естественно, его приговорили к смерти.

Он упомянул еще о том, что друзья велят ему назначить штраф в тридцать мин, а поручительство берут на себя, ну так он и решил назначить такую пеню.

Но его все равно приговорили к смерти.

Похоже, он был единственным, у кого не возникло при этом никаких возражений.

Стечение календарных дат даровало ему еще тридцать дней жизни. Когда друзья подготовили побег, он не пожелал о нем даже слышать.

Не ему нарушать законы своего города.

Шуточки насчет Сократа, содержащиеся в четырех пьесах Аристофана – «Облака», «Осы», «Птицы» и «Лягушки», – определенно показывают, что он был достаточно известен, чтобы толпа поняла, в чем их соль. Комический поэт Евполид написал о нем:

«Я ненавижу Сократа, который до всего доискивается и только не заботится, что ему есть».

Никто не поверил кожевнику Асклепию, когда тот поклялся, что ни разу не говорил с Сократом и не знает ни единого его изречения, за которое город приговорил его к смерти.

Его обвинители тоже ни одного не знали. На суде они привели лишь одно доказательство его порочности: он-де утверждает, будто Солнце – раскаленный камень, а Луна – земля.

Это хорошо известные положения Анаксагора, ухмыльнулся в ответ Сократ, даже малые дети стали бы смеяться над ним, если бы он попытался выдать их за собственные, не говоря уж о том, прибавил он, что это полная чушь.

III

Изобретение денег

6

Изобретение денег лидийцами в седьмом веке до Рождества Христова привело к серьезным изменениям в экономической жизни человеческих сообществ, докатившимся и до Голландии семнадцатого века по Рождестве Христовом и позволившим живописцу Рембрандту купить себе дом на Бреетстраат с первоначальным взносом двенадцати сотен гульденов, сделанным в день вселения.

Шесть месяцев спустя он заплатил еще двенадцать сотен и еще восемьсот пятьдесят гульденов через шесть месяцев после этого. Три платежа, произведенные в течение двенадцати месяцев, составили двадцать пять процентов от полной суммы.

Остаток можно было выплатить за пять или шесть лет, как будет удобно Рембрандту, — вместе с накопившимися процентами, начисляемыми по общепринятой ставке в пять процентов годовых.

Дом стоил тринадцать тысяч.

Рембрандт не сомневался, что сможет позволить себе подобные траты.

Почему бы и нет?

За первый свой год в Амстердаме он выполнил больше заказов, чем за всю прошлую жизнь. Следующие семь лет оказались не менее прибыльными.

Появившись в Амстердаме двадцатипятилетним человеком, он чуть ли не за одну ночь стал самым модным портретистом города. К 1639-му, когда Рембрандт с Саскией купили дом, он уже написал несколько картин для дворца принца Фридриха Генриха Оранского в Гааге. Два других его полотна принадлежали королю Англии Карлу I, которому предстояло в 1649-м расстаться с головой, но, правда, не из-за картин.

Тридцатитрехлетний Рембрандт зарабатывал кучу денег. Разве были у него причины сомневаться в том, что в дальнейшем он станет зарабатывать еще больше?

В той части Амстердама, в которую Рембрандт, лишившись дома, перебрался с семьей, он поселился в жилище достаточно просторном, чтобы вместить его студию, Хендрикие, их дочь и Титуса, арендная же плата составляла ровно двести двадцать пять гульденов в год.

При покупке дома в 1639 году они с Саскией были женаты пять лет. Ко времени их знакомства она уже осиротела. Хотя восемь сирот поделили состояние отца Саскии поровну, ее доли тем не менее хватало, особенно в соединении с начальным достатком Рембрандта, на то, чтобы их траты бросались в глаза, навлекая на Саскию критические замечания родственников, что она-де бессовестно транжирит свое наследство.

Вместе со своей долей богатства Саския привнесла в этот многообещающий буржуазный брак явственный душок патрицианского общества, который Рембрандт очень ценил и которого он не смог бы приобрести никакими иными средствами. При той сутяжнической натуре, которой, как мы знаем, обладал Рембрандт, и при том пассивном расположении, которое мы склонны приписывать Саскии, они, надо полагать, хорошо ладили и брак их был, вероятно, вполне удовлетворительным, не считая, конечно, дурного здоровья Саскии и смерти, постигшей первых их трех детей вскоре после рождения.

Не существует свидетельств касательно того, чтобы кто-нибудь из членов семьи Саскии возражал против ее брака с сыном лейденского мельника, ставшим в Амстердаме знаменитым художником и предположительно допущенным ко двору принца Фридриха Генриха, при кото-

ром, насколько мы можем полагаться на документы, он если когда-либо и появлялся, то лишь по делам, связанным с его профессией.

Его семья также помалкивала, хотя жившая в Лейдене мать Рембрандта представила необходимое письменное согласие на брак, подписав его крестиком.

Ни один из членов его семьи на брачном торжестве не присутствовал; возможно, ни одного и не пригласили.

Рембрандт и его родичи не писали друг другу – разве что о смертях; нет также сведений и о его приездах в семью. По меньшей мере двое из его братьев жили в ничтожной нищете еще до того, как он и сам в нее впал.

Даже до переезда в Амстердам у молодого Рембрандта имелось достаточно денег, чтобы ссудить тысячу гульденов торговцу, продававшему его работы.

Тысяча гульденов была порядочной суммой, распоряжаться которой, не говоря уж о том, чтобы отдать ее в долг, мог далеко не всякий молодой человек.

Возможно, эта ссуда была вложением в деловые операции. Вероятно, именно Эйленбюрх побудил Рембрандта переехать в Амстердам, город куда более крупный, чем Лейден, и к тому же ставший источником наиболее важных заказов. В Амстердаме, по крайности до своей женитьбы, Рембрандт жил в доме Эйленбюрха на Бреетстраат, улице, на которую Рембрандт, несомненно, стремился вернуться, как только он сможет позволить себе собственный дом.

Саския и Рембрандт почти наверняка познакомились в доме ее кузена Эйленбюрха в один из приездов Саскии из Фрисландии. Вскоре Рембрандт стал самым знаменитым из обитателей этого дома, главной приманкой на сходках культурной элиты, сопряженных с расходами, которые Эйленбюрх скорее всего окупал, собирая входную плату.

Ныне, в сорок семь лет, Рембрандт уже более года работал над изображением Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, и всего за пятьсот гульденов.

Хендрик ван Эйленбюрх был уважаемым дельцом-менонитом в отличающемся широтой взглядов городе, он поддерживал теплые отношения, личные и деловые, с людьми, обладавшими в Амстердаме, и не в нем одном, немалой властью, людьми, от которых в Голландии зависели решения, касающиеся не только назначений на государственные должности, но и выбора тех художников, которые смогут заработать на официальных и даже частных заказах. Великий морской порт Амстердам был в ту пору богатейшим и оживленнейшим в мире центром морской торговли.

Великий морской порт Амстердам, собственно говоря, и портом-то не был, поскольку располагался в добрых семидесяти милях от ближайших морских гаваней Северного моря.

Почтенный художественный агент Рембрандта имел обыкновение занимать деньги у всех своих живописцев, если, конечно, у них было что занять, взамен рекомендуя их амстердамским купцам и вообще людям разных профессий, способным стать прибыльным источником заказов на картины.

Одним из таких людей был доктор Николас Тюлп.

Датированный 1632 годом «Урок анатомии доктора Николаса Тюлпа» стал блестящим дебютом Рембрандта в этом новом для него городе, куда он приехал за год до того, имея репутацию, которую и подтверждал, не теряя попусту времени.

Теперь ему было двадцать шесть.

Его драматическое изображение хирургов, присутствующих на вскрытии, проводимом доктором Тюлпом, который, глядя в ученую книгу, дает пояснения относительно анатомированной им руки, представляет собой поразительный по смелости шедевр, в котором нет почти ни единой крупницы правды.

Доктор Тюлп не анатомировал руку, об анатомировании коей он читает на картине лекцию, которой внимают все остальные. Анатомирование начинается с вентральной полости, а она изображена нетронутой.

Люди, написанные Рембрандтом, были, все до последнего человека, чиновниками гильдии хирургов, а отнюдь не студентами медицины, возможно, никто из них и врачом-то не был, к тому же все, кто изображен на картине, за вычетом одного человека, заняты вовсе не тем, чем они были бы заняты, изобрази их Рембрандт занятыми тем, чем они занимались, пока Рембрандт их писал, а именно – позированием для картины.

Единственная правдивая фигура в «Уроке анатомии доктора Николаса Тюлпа» – это человек, известный под именем Адриен Адриенц 'т-Кинт ('т-Кинт означает «телок»), он же труп.

Человека этого повесили при большом скоплении публики за грабеж, сопряженный с насилием. Он спер пальто.

Доктор Тюлп, выдающийся ученый, профессор анатомии Амстердамской гильдии хирургов, олдермен и член городского совета, а впоследствии четырехкратный бургомистр, был сыном торговца готовым платьем.

В первой половине семнадцатого столетия в Амстердаме не считалось зазорным быть сыном торговца готовым платьем.

А также торговца солью, сельдью, мускатным орехом и гвоздикой, зерном, лесом, табаком, оружием и даже, к чему неизбежно приводит прогресс культуры, деньгами как таковыми.

К концу того же столетия на фабрикации готового платья, засоле и поставке сельди – вообще на всяком предпринимательстве, сопряженном с затратами труда и производством продукта, – запечатлелось некое социальное клеймо.

К концу того же семнадцатого столетия богатые торговцы, промышленники и судовладельцы Амстердама жаловались, что намного превосходящие их богатством государственные чиновники не желают более заниматься торговлей или производством товаров, а взамен того «извлекают доходы из домов, земель и дачи денег под проценты».

Аристотель почитал дачу денег под проценты подлейшим из множества извращений, каким может подвергаться это средство взаимных расчетов.

Нарождалась новая аристократия, дети богачей все чаще и чаще вступали в браки в своем кругу, объединяя состояния. Они начали приобретать загородные дома и одеваться на отличный от прочих, привлекательный манер.

Когда лавочники и мастеровые стали сами одеваться и жен своих и детей одевать на тот же манер, представители среднего класса предложили ввести закон, объявлявший преступниками всех, кто так одевается, кроме, конечно, представителей среднего класса.

Когда столь многие одеты одинаково, жаловались они, зачастую невозможно отличить людей, заслуживающих вежливого обращения, от тех, кто его не заслуживает.

Закон не прошел, однако в воздухе явственно запахло социальными переменами и новыми классовыми различиями, свидетельством которых он стал.

С изобретением денег лидийцами в седьмом веке до Рождества Христова появилась масса возможностей извлечения прибыли, а там, где прибыль, там и люди, пуще всего на свете желающие ее извлекать. Там же, где из денег можно извлечь больше денег, чем из чего бы то ни было другого, усилия государства, как правило, направляются на увеличение производства все тех же денег, в которых общество, вообще говоря, и не нуждается, если оставить в стороне покупку предметов потребления, необходимых для поддержания здоровья и физического благополучия, а также приобретение досуга для размышлений. Всякий раз, когда денег появляется больше, чем требуется для приобретения продуктов, они расходуются на приобретение еще большего количества денег. Банки становятся преобладающей в обществе силой, число юристов и бухгалтеров возрастает, а само общество оказывается дезорганизованным и ослабевает в военном отношении.

Появляется множество людей, которые процветают в подобном финансовом окружении, и еще больше тех, которые могут совершенно свободно катиться к чертовой матери.

В Амстердаме, где Хендрик ван Эйленбюрг занимал деньги у своих покровителей или позволял им вкладывать эти деньги в свое дело, обыкновение его состояло в том, чтобы выдавать в качестве обеспечения долгов картины Рембрандта и прочих, ибо он знал, что его кредиторы смогут копировать эти картины без разрешения авторов и без оплаты их труда.

Далеко не в одном случае он, в виде дополнительного залога, отдавал одни и те же картины разным кредиторам.

Эйленбюрг отдавал в обеспечение долга офортные доски и не мешал кредиторам делать с них оттиски на продажу.

Рембрандт продавал офортные доски одному португальскому еврею, тайком припрятывая несколько оттисков для себя, в нарушение условий сделки.

Рене Декарт, называемый отцом современной философии и основателем аналитической геометрии и большую часть своей жизни проведший в Амстердаме – как раз во времена Рембрандта, – заметил однажды, что люди, населяющие этот город, настолько поглощены преследованием собственной выгоды, что он мог бы провести здесь всю свою жизнь без того, чтобы его заметила хотя бы единая душа.

Декарт провел остаток своей жизни, а вернее, большую его часть в Амстердаме, и Рембрандт его не заметил.

Через месяц после женитьбы Рембрандт нанял поверенного для сбора мелких долгов, так и не выплаченных Саскии в Фрисландии. С этого дня и до конца его жизни едва ли найдется период длиною в два года, в который он не был погружен в денежные тяжбы.

Когда его любовницу и экономку Хендрике Стоффелс призвали на заседание церковного совета по обвинению в развратной жизни с живописцем Рембрандтом, самого живописца призвали тоже. Он туда не пошел.

Когда «Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера» близился к завершению, Хендрике позировала голышом для полотна, на котором Вирсавия размышляет над письмом Давида. Помимо этого она, одетая в белую сорочку, служила моделью для чудесной картины, изображающей женщину, которая стоит, приподняв юбки, в воде, доходящей ей до колен.

Это простенькое полотно представляет собой едва ли нечто большее, чем набросок к картине.

Тем не менее Аристотель, трепеща от волнения, наблюдал за созданием этого полотна, за появлением предположительно плотной плоти, вещественных форм человеческого существа и белого облачения, возникающих почти из ничего – из одной лишь идеи и мастихина, дополненных косными контурами красного плаща, казалось, небрежно сброшенного на землю, и почти пророческим прозрением возможностей цвета, формы, пространства и текстуры холста.

Пока Хендрике позировала голой или в рубашке, подол которой она приподнимала, Аристотель не отрывал глаз от бюста Гомера. То, что она была на пятом месяце беременности, не увеличивало ни ее привлекательности для Аристотеля, ни шансов на оправдание ее церковными властями.

По меньшей мере в четырех английских биографиях Рембрандта невозможно найти ни единого доброго слова о нем – лишь о его творениях и о сочувственной трактовке им нищих евреев-ашкенази, которые стекались в Амстердам, спасаясь от войн в Германии и Польше, и на которых город, издавна плодивший евреев-сефардов наряду с большими количествами голландских кальвинистов и католиков, взирал с омерзением.

Рембрандт не принадлежал к богеме.

Всех трех женщин, с которыми он определенно состоял в интимных отношениях – Саскию, Гертджи и Хендрике, – он подыскал себе прямо в доме, в котором жил. И в домашнем хозяйстве, и в любви Рембрандт устраивался примерно одними и теми же способами.

В этих связях присутствовала экономность движения, и Аристотель, чья изложенная в «Метафизике» теория творения основывается на первичном движителе, который заставил

Вселенную вращаться и больше никогда в нашу сторону не смотрел, не питал к ней особого уважения.

Рембрандта путешествия привлекали не более, чем Сократа, едва ли когда-нибудь покидавшего Афины.

Нам известны лишь два случая, когда Рембрандт выбирался из Амстердама: один связан с предпринятой ради женитьбы поездкой в Фрисландию, другой – с посещением Роттердама по некоему делу. Мы можем с уверенностью сказать, что он иногда выезжал за город, поскольку существуют написанные им невероятно скучные пейзажи, признаваемые кое-кем гениальными.

У него еще есть офорт, на котором монах предается блуду посреди поля.

Писал он и натюрморты, настолько жалкие, что люди, ими владеющие, не решаются высушить носа на улицу и признать, что у них таковые имеются. Ни одного до сих пор не нашли.

О Рембрандте рассказывают, будто его ученики рисовали на полу монеты, чтобы посмотреть, как он кинется к ним и наклонится, чтобы их подобрать, но это, похоже, относится к числу тех анекдотических розыгрышей, которыми студенты-живописцы пробавляются или, во всяком случае, хвастаются где ни попадя.

Как и прочие голландские живописцы его времени, он заставлял учеников делать копии со своих полотен, которые затем продавал.

Чем лучше был ученик, тем более ценной оказывалась подделка.

Чем более ценной оказывалась подделка, тем пуще ценился ученик.

Бывали времена, когда Рембрандт зарабатывал на выполненных учениками подделках его полотен больше, чем на продаже собственных подлинников. В современных каталогах на одного подлинного Рембрандта приходится шесть копий, откровенно помеченных как таковые.

В Париже существовала когда-то прославленная коллекция банкира и ценителя искусств Эверарда Ябаха, целиком состоявшая из копий с работ, которыми он некогда владел. Среди прочего в ней имелся автопортрет Рембрандта 1660 года, на котором художник изображен с муштабелем, кистями и палитрой. Оригинал принадлежал впоследствии Людовику XIV, а теперь висит в Лувре.

В наше время замечательное собрание копий великих творений искусства, которыми некогда владел французский банкир Ябах, могло бы принести его продавцу целую кучу фальшивых денег.

До нас дошло примерно пятьдесят два автопортрета Рембрандта, некоторые из которых наверняка написаны не им. Трудно вообразить себе автопортреты, написанные не тем, кто на них изображен, и однако же вот они, полюбуйте.

Трудно представить себе голландца, да и кого бы то ни было еще, совершившего кругосветное путешествие наполовину, однако и таких имелось достаточно.

Зенон Элейский, пожалуй, усмотрел бы парадокс в представлении о ком бы то ни было, совершившем кругосветное путешествие наполовину, если бы только Зенон знал, что Земля круглая.

По меньшей мере четыре копии автопортретов Рембрандта считаются превосходящими их оригиналы, на которые, правда, негде полюбоваться. В двух из этих копий мастерство и владение кистью намного превосходят все, чего сумел когда-либо достичь Рембрандт. Если, конечно, эти копии не выполнены Рембрандтом, а все остальное кем-то другим.

Во что, как выразился Шиллиг, трудноверно поверить.

Когда в 1656-м Рембрандта признали неплатежеспособным, его долги равнялись семнадцати тысячам гульденов, и более половины их составляли деньги, занятые ради спасения дома, которого ему предстояло лишиться. Одним из кредиторов оказалась Гертджи Диркс, притязавшая на финансовую поддержку после пятилетней отсидки в государственном исправительном заведении, куда ее удалось упрятать Рембрандту и действовавшему заодно с Рем-

брандтом брату Гертджи. Она померла, так и не получив ни единого стюйвера, каковой составляет двадцатую часть гульдена.

Вряд ли ей удалось бы получить даже стюйвер, проживи она и подольше.

Из всех его кредиторов только один, бургомистр, получил все, что ему причиталось.

С изобретением денег в седьмом столетии до Рождества Христова люди приобрели свободу делать, подобно Рембрандту, займы под проценты и по уши влезать в долги.

В древних Афинах тех, кто не мог расплатиться с долгами, продавали в рабство. Их жены и дети шли к ним в придачу. Мелкие крестьянские хозяйства разорялись. Город разделился на кредиторов и должников, богатых и бедных.

Когда движущей силой становится выгода, люди обращаются в расходный материал, а благосостояние общества – в дело десятое. Кому нужен рабочий класс, когда кругом полным-полно рабов? Зачем тужиться, производить то, что можно задешево ввезти? И с какой стати продавать товар по цене, меньшей затрат на его доставку? За сто лет до Перикла богатые афинские землевладельцы вывозили из города собственное зерно на более прибыльные рынки, в то время как население города голодало.

Дело шло к революции.

Для предотвращения гражданской войны к власти призвали Солона, законодателя.

Он отменил продажу несостоятельных должников в рабство.

Дабы устранить нехватку зерна, он запретил вывоз любой сельскохозяйственной продукции, кроме оливкового масла, которого всегда имелось в избытке.

Землевладельцы насадили побольше олив и стали сеять меньше пшеницы.

Он доверительно поведал ближайшим друзьям, что намерен упразднить долги, сохранив при этом нетронутыми крупные владения.

Друзья назанимали денег и понакупили земель. Долги упразднили, земли остались у друзей.

Хочется верить, что сам Солон был безупречен.

Ныне Солон известен нам как мудрый законодатель.

Богатые разъярились оттого, что не получили своих денег, нищие – оттого, что лишились земли.

Солон сочинял стихи с куплетами вроде вот этого:

Никто не в силах отобрать у человека добродетель;
Меж тем у денег, что ни день, меняется владетель.

В подлиннике они выглядят еще отвратнее.

Люди, проникающие мыслью до таких глубин, как изобретение денег лидийцами в седьмом веке до Рождества Христова, понятия не имеют о жизни в семнадцатом веке по Р. Х. Сократ, живший в пятом веке до Его Рождества и проживший еще один год в четвертом, говорил на своем суде так, словно он-то и был самым что ни на есть Христом.

– Бог послал меня к вам и приставил к городу, как овода к лошади, – сказал он судьям, защищаясь в день суда. – Я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может казаться, но ради вас, чтобы вам, осудивши меня, не проглядеть дара, который вы получили от Бога. Я вам дарован. И если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще такого человека.

Всю свою жизнь, поведал он судьям, он был единственным слушателем своего личного сверхъестественного голоса, чьи наставления, совершенствовавшие его, ему было бы грех оставлять без внимания.

– Мужичьяныне, я чту и люблю вас, а слушаться буду скорее Бога, чем вас.

Слишком поздно было уговаривать Сократа отказаться от убеждений, за которые его сожгли бы как еретика в еще только предстоящие просвещенные Темные века, принявшие и

впитавшие Платона, а Аристотеля открывшие вновь и провозгласившие «философом», к чему приложил руку даже такой человек, как Аквинат.

И было бы слишком рано рассказывать Сократу о сумасшедшем школьном учителе из Амстердама, верившем, будто Бог приказал ему отправиться в Государственный музей, к картине «Ночной дозор», прямиком из ресторана, в котором он завтракал, да не забыть прихватить с собой зазубренный хлебный нож.

7

Когда Сократу исполнилось шестьдесят пять, а Платону двадцать четыре, Афины блокировал с моря флот, финансируемый Персией и управляемый спартанцами, к тому времени на горьком опыте научившимися у афинян воевать на море. С суши город также был в очередной раз осажден. Население снова сбилось за стены – шел последний год борьбы, начавшейся двадцать семь лет назад.

Золото и серебро сдирали со статуй и памятников, стоявших на площадях и в храмах, дабы начеканить из них денег, необходимых для продолжения войны, которой предстояло вывести город из жалкого состояния и привести к еще более жалкому.

Все это сопровождалось невиданным расцветом театра.

Когда Рембрандту исполнилось сорок семь – он все еще писал «Аристотеля», – побережье Голландии было блокировано Англией, на опыте борьбы с голландцами научившейся строить большие военные корабли, способные нести тяжелые орудия, и, глядя на тех же голландцев, уразумевшей, что торговля приносит куда больше денег, чем земледелие и разведение скота, – голландцы некогда уразумели это, глядя на португальцев.

Англия, страна в коммерческом отношении отсталая и очень медленно наверстывавшая упущенное, начала понимать, что Нидерланды каждый год получают огромные барыши, вылавливая сельдь у берегов Шотландии, да и южнее тоже; она обнаружила также, что некрашеное полотно, вывозимое из Англии для окончательной обработки в Голландии, приносит куда больше доходов голландцам, нежели британским овцеводам, прядильщикам и ткачам.

Еще до конца этого столетия, после того как практичная Голландия уяснила, что перед Англией, обладавшей естественными преимуществами в отношении географии и населения, ей больше не устоять, практичные голландские страховщики принялись давать бывшим врагам уроки по части страхования и финансов, возглавив создание Банка Англии, Лондонского Ллойда и Английской фондовой биржи, вывозя, ради укрепления английской экономики, капиталы за рубеж, вместо того чтобы поддерживать свою собственную, и демонстрируя тем самым извечный пример того, что деньги подчиняются совсем иным законам, нежели что-либо иное в природе, быстро стекаясь не туда, где они нужнее всего, но туда, где они быстрее всего прирастают, ничего при этом не ведая ни о лояльности, ни о национальности.

Военные действия велись на море, главные сражения этой первой англо-голландской войны происходили в водах Ла-Манша, в которых морские суда Голландии имели обычно право свободного прохода. В самом столичном городе Амстердаме знамения войны оставались немногочисленными.

Рембрандту, поглощенному своей живописью и своими проблемами, похоже, никак не удавалось сколько-нибудь основательно усвоить связь между тучами, сгустившимися над финансовой жизнью города, и зловещими переменами, от которых уже страдали голландцы.

Частому его гостю по имени Ян Сикс приходилось то и дело напоминать ему об этой связи.

Из долга за дом, просроченного уже на семь лет, целую тысячу гульденов составляли, как обнаружил Рембрандт, накопившиеся проценты.

Аристотель помалкивал. Дача денег под проценты – занятие неестественное, когда-то написал он, поскольку извлекаемая прибыль порождается отнюдь не процессом взаимных расчетов, ради обслуживания которого деньги и были изобретены.

– Конечно, – сказал Рембрандт, – мне не составит труда продать дом.

В стране серьезный спад, сказал Ян Сикс. Если бы Рембрандт продал дом, он не смог бы выручить за него столько, сколько сам заплатил.

– Так он же стоит гораздо больше.

– Люди сейчас осторожны в тратах, – сказал Сикс. – Быть может, оттого владельцы ваших закладных и требуют выплаты.

Сиксу было виднее. Его семья владела красивыми и шелкопрядными фабриками. Аристотель не знал, что тут посоветовать.

Сикс был моложе Рембрандта – ученый человек с артистическими наклонностями, принимавший активное участие в многосторонней кипучей жизни города. Он напечатал сочиненную им пьесу под названием «Медея», к которой Рембрандт сделал офорт.

Иллюстрация получилась вполне приличная, но чем больше делалось оттисков, тем более расплывчатыми они становились.

Это все печатник, несправедливо утверждал Рембрандт, вечно они небрежничают.

Несколько лет назад он изобразил Яна Сикса читающим у окна – этот офорт стал образцом, до которого не удалось подняться ни одному граверу города. Рембрандт и сам никогда больше до него подняться не смог, хоть мы и не знаем, предпринимал ли он такие попытки.

Впрочем, и эта доска прослужила недолго.

– Печатник, все печатник, – бормотал Рембрандт, виня человека, делавшего оттиски для Сикса. – Был бы поосторожнее, не испортил бы доску.

Рембрандт знал, что офортные доски не годятся для многократной печати, но упрямо не желал в это верить. Хотя в отношении доски с изображением Яна Сикса это было тем более верно. Помимо линий, протравленных кислотой, изобретательный Рембрандт процарапал на доске другие – сухой иглой и резцом, соединив различные техники гравирования и создав наплывы, обогащавшие мягкие штрихи бесчисленными оттенками черного цвета, но снашивавшиеся гораздо быстрее обычной офортной доски, так что оттиски вскоре стали бледнеть.

Сикс не жаловался. Его, похоже, заинтриговали приемы Рембрандта, отчего Сикс повадился заглядывать к живописцу единственно ради того, чтобы зачарованно следить за изменениями, кои претерпевали Аристотель, Вирсавия и иные, и рассуждать об увиденном. Почти не сознавая, что делает, он все норовил подойти вплотную то к одному, то к другому холсту, чтобы, пристально вглядываясь, постичь мельчайшие тонкости присущих каждому эффектов, которые чем дальше, тем пуще его завораживали.

– Вижу, вы снова его изменили, не так ли? – сказал он об Аристотеле. – Даже если относиться к этому лишь как к оптическому явлению, – продолжал Сикс, – ему остается только удивляться, как можно создать столь захватывающую иллюзию человека, погруженного в глубокие размышления, пользуясь лишь волосками и краской.

– А также ножом и пальцем, – хмуро поправил его Рембрандт. С вежливой решимостью он втиснулся между Сиксом и мольбертом, не позволяя гостю подойти слишком близко. Он не желал делиться своими секретами.

– Хорошо бы вы меня написали, – внезапно сказал Сикс и поспешно добавил, когда Рембрандт, резко повернувшись, уставился на него: – В вашей манере, конечно.

– В моей манере? – явно удивился художник.

– Я хочу сказать – так, как вам захочется. Я бы не возражал, если бы получилось похоже вон на него.

– Портрет вроде этого? Но это не портрет.

– Я же не сказал «портрет». Мне нравится его грубая поверхность, эти ваши тени и темнота, ваш широкий мазок. Вы даете ясно понять, что здесь побывал художник и что он куда важнее того, что изображено на картине, ведь так?

Рембрандт хмыкнул.

– Было такое желание, – признал он.

– Я узнаю бюст Гомера, – сказал, кивая, Ян Сикс. – А на Аристотеле одеяние современное, но мантия, сдается, античная. Я не ошибся?

Рембрандт об этом понятия не имел. Просто он купил такую одежду.

– Вы и вправду не знаете? Да нет, просто говорить не хотите. А вот шляпу я не узнаю.

– Шляпу я выдумал.

– Вы ее опять изменили, верно? Поля стали шире.

– И опять меняю. Будут поменьше.

– А кто этот человек? Я его знаю?

– Аристотель.

– Похож на еврея.

Аристотель, рассвирепев, уставился на Сикса.

Рембрандт немедленно пригасил его взгляд, добавив в глаза немного минерального лака.

– Такой мне и нужен, – сказал Рембрандт. – Для него позирует один из моих друзей.

– В этом костюме? Аристотель?

– А что, вам не нравится?

– И вид у него какой-то грустный.

– Таким я его себе представляю. Он стареет. Не знает, как жить дальше. Древний философ, а работы найти не может.

– Я еще кое-что заметил. Вроде бы на талисмане проступает лицо.

– Да вот, решил, пусть будет лицо. Не знаю, чье оно. Купил когда-то одну такую штуку.

– Назовите его Александром Великим.

– С чего бы это?

– Так он же учился у Аристотеля. Вас станут хвалить за глубину символического смысла.

И с цепью тоже что-то произошло?

– Я делаю ее потолще.

– Как вам удалось сделать ее такой реальной?

– Пожалуйста, не подходите слишком близко. Вас может стошнить от запаха краски.

– И какой толщины она будет?

– Такой, какая мне требуется.

– Да, но насколько толще вы хотите ее сделать?

– Сделаю – узнаю.

– И еще мне очень нравятся руки.

– Могу и вам такие написать. Вам как, такие же простенькие? Ваши я мог бы прописать поподробнее.

– Вы ведь изобразили каждую всего несколькими мазками, верно? И тем не менее они совершенно естественны и пребывают в полном покое. По-моему, они изумительны.

– Движение мне не очень дается.

– Вы не пишете людей за едой или пьющими.

– Не часто. Хотите, чтобы я написал портрет селедки?

– Все остальные пишут.

– Мне нравятся люди с пристальным взглядом. Если я теперь изображаю людей без него, я потом не уверен, по душе они мне или нет.

– А с чего вы начинаете? Как решаете, что будете делать?

– Да так и решаю. Не знаю как. Вас я сделаю совсем по-другому, в три четверти роста. Одетого для заключения серьезной сделки. В плаще, натягивающим перчатки.

– Я не собираюсь заниматься торговлей. Это я вроде бы уже решил.

– Ну, тогда будете членом правительства.

– Не уверен, что мне и это по сердцу.

– Ладно, пусть будет просто государственная служба, на которой не придется особенно напрягаться. Семья ваша занимает слишком высокое положение, да и вы тоже. Влиятельные друзья мне не помешают. И новые заказы тоже, помогут расплатиться за дом. Пожалуй, я вас сделаю немного постарше.

– К тому времени, как вы закончите, я так и так стану постарше.

– Я изображу вас таким, каким вы будете, когда станете олдерменом или бургомистром.

Рембрандт улыбнулся, Сикс нахмурился. Рембрандт отложил палитру, прислонил к креслу муштабель. Молча поднял большой палец на уровень глаз, с минуту всматривался в будущий предмет изображения, чуть откинул голову назад, потом кивнул – Сикс между тем не двигался, да, похоже, и не дышал.

– Попробую красный цвет поярче и золото возьму другое. Руки вам можно будет сделать одним мастихином. Пройдусь по ним ножом до того, как подсохнут. А может, еще и пальцем.

– И после передумаете, – негромко рассмеялся Ян Сикс. И шутливо добавил: – А будут там ваши печально знаменитые, немыслимые наслоения красок?

– Вам они могут и не понравиться.

– Нет, я не против.

– Ну, тогда обещаю потратить на краски для вас все, что вы мне заплатите.

– Я бы не отказался и от вашей светотени, которой вы столь бесславно прославились.

– И за которую надо мной потешаются.

– Потому что как же иначе люди поймут, что меня написал сам Рембрандт?

– Получится не очень красиво.

– Вы считаете меня человеком, который хочет получиться красивым?

Рембрандт не без самодовольства вздохнул и сказал ворчливо:

– Приятно, что в Голландии остался хоть кто-то, не помешавшийся на классическом искусстве.

– Я заказываю картину, а не картинку.

Рембрандт довольно всхрипнул.

– Черного будет побольше, чем здесь. Освещение я сделаю ярче. И шляпу вам придумаю почище этой.

– Я предпочел бы остаться в своей, – твердо сказал Ян Сикс.

– Будете выглядеть как человек, у которого я не хотел бы оказаться в должниках, – не без лукавства сообщил Рембрандт, улыбнулся и вновь занялся цепью Аристотеля, добавляя к ней золота.

Аристотель нахмурился: у него от таких, как Рембрандт, ум заходил за разум.

Когда Ян Сикс ушел, Рембрандт принялся напевать, без слов, но довольно громко. Можно будет перевести дом на сына, объявил он Аристотелю, вернувшись от двери и разглядывая его с искренним удовольствием.

– Тогда ему придется составить завещание, так? А я смогу стать попечителем, с правом получения доходов. Я это знаю так точно, как будто ты сам мне про это сказал, разве нет? А? Понял, господин философ? Ты не единственный умник в этом доме, верно?

Аристотель побагровел. Смесью белого с коричневой умброй Рембрандт стер краску с его лица и значительно углубил выемку на впалой щеке.

Поговаривают, будто в Утрехте и Зеландии подходят к концу запасы провианта. Сикс – еще один человек, громко поведал Аристотелю Рембрандт, у которого наверняка можно будет перехватить денег.

8

Для Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, непреходящее помешательство мира на деньгах оставалось такой загадкой, что он даже не сознавал, насколько ему не по силам ее разрешить. Он так и не смог уяснить, что деньги обладают собственной ценностью. Это всего-навсего средство взаимных расчетов. И совершенно невозможно понять, какое из их качеств делает погоню за ними более привлекательной, чем добрый ночной сон.

Изопренный ум – такой, как у Аристотеля, – находит неразрешимые дилеммы там, где люди попроще решительно никаких не находят.

«Человек не вправе ожидать, что, вытягивая деньги из общества, он будет еще получать почести» – так писал он, живя в Афинах и сочиняя «Никомахову этику».

В Сицилии его уверенность в этом несколько поколебалась.

В Лондоне и в Париже у него возникли сомнения.

В Нью-Йорке он осознал свою неправоту, поскольку все люди, пожертвовавшие средства на приобретение его портрета музеем Метрополитен, вытягивали из общества преизрядные деньги и, однако же, пребывали в великой чести, в особенности после покупки этого шедевра, ибо на вделанной рядом с ним в стену медной табличке имена Исаака Д. Флетчера, Генри Дж. Кизби, Стефена К. Кларка, Чарльза Б. Куртиса, Гарриса Б. Дика, Генри Дж. Маркоунда, Джозефа Пулитцера, Альфреда Н. Паннетта, Джакоба С. Роджерса, равно как и Роберта Лемана, миссис Чарльз Песон и Чарльза Б. Райсмана стояли рядом с именами Аристотеля, Гомера и Рембрандта.

Гомер побирался, Рембрандт обнищал. Аристотель, которому хватало денег на книги, на его школу и музей, не смог бы купить изображающую его картину.

Рембрандт не мог позволить себе Рембрандта.

IV

«Я самый странный из смертных»

9

Сократа осудили при демократическом строе. Это стало еще одним из обстоятельств, сильно подействовавших на Платона, в котором уродливый, хоть и недолгий, режим Тридцати тиранов, за пять лет до того свергнутый восстанием демократов, оставил чувство устойчивого отвращения. Его дядя, Критий и Хармид, принадлежали к числу самых злющих из Тридцати. Они уговаривали его заняться политической деятельностью, обещая свое покровительство, но Платон отказался.

В ту пору ему было двадцать четыре года.

Ему было двадцать девять, когда Сократа казнили по обвинениям, выдвинутым Анитом, деловым человеком, Мелетом, поэтом, и Ликоном, оратором.

Сократ пережил незаконное правление Тридцати, свободно расхаживая по городу и продолжая оставаться Сократом, хотя один раз его все же вызвали куда следует и предупредили.

Тиран Харикл призвал его к Критию, который ни слова не сказал о днях, когда он и Сократ пребывали в более дружеских отношениях, – в ту пору Критий, человек молодой, таскался за Сократом по городу, чтобы научиться у философа тому, чему он сможет научиться.

Он научился вести дебаты.

Чему он не научился, так это тому, что предметом дебатов являются не сами дебаты.

Существует закон, сказал Критий, который запрещает учить искусству слова.

Сократ не знал такого закона.

– А я его только что установил, – сказал Критий. Он установил этот закон, имея в виду Сократа.

Сократ сказал, что не понимает, какое отношение имеет к нему искусство слова.

– Я готов повиноваться законам, – продолжал он, нимало не кривя душой, и сразу же принялся, по своему обыкновению, упражняться в искусстве слова, – но я должен понимать их, чтобы незаметно для себя, по неведению, не нарушить в чем-нибудь закона. Вы можете дать мне точные указания? Почему вы приказываете мне воздерживаться от искусства слова – потому ли, что оно, по вашему мнению, помогает говорить правильно, или потому, что неправильно?

Тиран Критий уже начал вращать глазами.

– Если говорить правильно, то, очевидно, пришлось бы воздерживаться говорить правильно. Если же говорить неправильно, то, очевидно, я должен постараться говорить правильно. Чего именно вы от меня ожидаете?

Харикл раздраженно ответил:

– Когда, Сократ, ты этого не знаешь, то вот что мы объявляем тебе простыми словами, понятными даже тебе, – чтобы с молодыми людьми ты вовсе не разговаривал.

– Так чтобы не было сомнения в моем послушании, – сказал Сократ, – определите мне, до скольких лет должно считать людей молодыми.

– До тех пор, – ответил Харикл, – пока им не дозволяется быть членами Совета, как людям еще неразумным. И ты больше не разговаривай с людьми моложе тридцати.

Сократ покивал.

– Предположим, – сказал он, – я захочу что-нибудь купить. Если продает человек моложе тридцати лет, тоже не надо спрашивать, за сколько он продает?

– О да, – сказал Харикл, – о подобных вещах можно. Но ты, Сократ, по большей части спрашиваешь о том, что и так знаешь. Так вот, об этом не спрашивай.

Такой отзыв о нем Сократа ничуть не обидел.

– Если меня спросил молодой человек о чем-нибудь мне известном, например, где живет Харикл или где находится Критий, должен ли я отвечать?

– О подобных вещах можно, – сказал Харикл.

– Но видишь ли, Сократ, – произнес Критий с выражением человека начальствующего, решившего покончить со всем, с чем ему угодно покончить, – придется тебе в разговорах о тех, кто правит страной, отказаться от твоих любимых предметов, от всех этих сапожников, плотников, кузнецов: думаю, они совсем уж истрепались оттого, что вечно они у тебя на языке, да и меня уже мутит, когда я слышу о них. Как ты знаешь, я помог устранить нашего старого друга Алкивиада. Так не думай, что на тебя у меня духу не хватит.

Будь Сократ побогаче, он мог бы кончить и хуже, ибо эти Тридцать тиранов были тиранами не только в классическом, но и в современном смысле слова.

Они алчно присваивали собственность тех, кто им противился, тех, кто оспаривал их действия, а также тех, на чье богатство они позарились; брали людей под стражу, словно преступников, без объяснения причин, и привычно приказывали напоить их цикутой, не затрудняя себя выдвижением обвинений.

Спарта назначила их, чтобы они создали для Афин, ставших вассалом завоевателя, новую конституцию, по которой сами они будут править городом как олигархи.

Однако они были представителями правого крыла афинян, людьми решительными и настроенными антидемократично. Они не видели особой нужды сочинять конституцию, которая позволила бы им творить все то, что они творили и без нее, и сразу впали в оргиастическое буйство гонений, грабежей, облав и ликвидации. Особенно уязвимыми оказались богатые иноземцы. Над городом навис страх перед неожиданным арестом, внезапным стуком в дверь, платными осведомителями и тайной полицией.

Некоего умеренного члена Тридцати предали смерти за то, что он воспротивился жестокостям той самой партии, которую помогал организовать и ретивым членом которой стал.

За восемь месяцев правления Тридцати были казнены полторы тысячи людей. Сотни демократов бежали, обратившись в изгнанников. Пять тысяч граждан, не замеченных в зримой и слышимой поддержке правящей партии, были согнаны в Пирей: в городе не хватало места для создания приличного концентрационного лагеря, не было земли для размещения каторжной колонии или гулага, не было, собственно говоря, ни времени, ни людских ресурсов, ни каких-либо из наших современных удобств, позволяющих быстренько поубивать столько народу, сколько захочется.

Политика Тридцати состояла в том, чтобы втянуть в свои преступления всех прочих граждан, дабы никто потом не смог обвинить их в делах, в которых и сам не участвовал.

Не любо, не кушай – такой выбор предложили тираны народу Афин.

Анит, обвинитель Сократа, принадлежал к числу демократов, бежавших в Филу, в общину изгнанников и готовивших свержение Тридцати.

Сократ принадлежал к числу граждан, оставшихся в городе. Ему, похоже, было все равно, при каком правительстве жить – афинское, и ладно. Все они хороши.

И разумеется, настал день, когда Сократа призвали к Критию по государственному делу: ему и еще четверым приказали взять Леонта из Саламина и доставить его туда, где его казнят.

– И какое же обвинение мы должны предъявить ему, если он спросит? – поинтересовался Сократ.

– Никакого, – ответил Критий.

– Никакого? Тогда на основании какого закона должны мы сделать то, что ты приказал нам сделать?

– Нет такого закона. И преступления нет. Единственное основание – это я. Мне нужна его собственность. И не тащите его сюда. Отведите прямиком в тюрьму и скажите начальнику Одиннадцати, чтобы они его прикончили.

Сократ ушел домой ожидать участи, навлекаемой неподчинением. Четверо других отправились к Леонту Саламинскому, арестовали его и доставили в тюрьму, где его и отравили.

Изгнанники вторглись в Афины до того, как Сократа успело постигнуть заслуженное наказание. Сократа спасло восстание демократов. Критий с Хармидом, дядя Платона, оба погибли в Пирее, тщетно пытаясь одолеть повстанцев в битве при холме Мунихий.

Наступление мира, как правило, не полагает конца насилию, развязанному войной, завершение же этой войны не положило конца ненависти и вражде, ее породившим.

В Элевсине, куда бежали со своими приспешниками те, кто уцелел из числа Тридцати, была сочинена эпитафия Критию и прочим павшим тиранам:

Памяти отважных мужей, некогда вскрывших нарыв раздувшейся гордыни проклятых афинских демократов.

И поныне встречаются люди, твердящие, что Критий – лучший из людей, когда-либо родившихся в Греции, а единственная его ошибка состоит в том, что он не успел перебить всех демократов.

Будучи зажатым между присущими олигархам алчностью и стремлением к господству и раздувшейся гордыней проклятых демократов, мыслитель, который, подобно Сократу, не питает уважения ни к тем, ни к другим, очень скоро оказывается задавленным до смерти, а идеалист, подобный Платону, обнаруживает, что деваться ему, в сущности, некуда – остается выбирать всего лишь между внутренним миром изолированного мышления и фантастической грезой диктаторского общества, явленной в его «Государстве».

Правление террора, насаждаемого олигархией, пришло к концу.

Правление террора, насаждаемого демократией, несколько задерживалось.

Прошло целых пять лет, прежде чем Анит, Мелет и Ликон потребовали суда над Сократом. В эти пять лет Сократ не сделал ничего отличного от того, чем он занимался всю жизнь, разве вот Аниту сказал, что сын его, в котором Сократ приметил большие дарования, способен, быть может, совершить в жизни нечто большее, чем торговать, по семейной традиции, кожей.

Подобная обида, нанесенная им Аниту, вряд ли способна объяснить враждебность, которой прониклись к Сократу афинские жители.

А вот беспечная веселость в сочетании с идеологическим нонконформизмом – могут вполне.

На суде Сократ сказал, что никогда не говорил частным образом ничего такого, чего не говорил бы открыто.

Видимо, в этом и была главная его беда.

– Я всю жизнь оставался таким, как в общественных делах, так и в частных, никогда и ни с кем не соглашаясь вопреки справедливости, ни с теми, кого клеветники называют моими учениками, ни еще с кем-нибудь, – сказал Сократ, подразумевая обвинения в том, что он учил Крития и Алкивиада, когда те были молодыми людьми, и, стало быть, несет ответственность за их безобразное поведение в дальнейшем, когда они стали государственными деятелями. Он не упомянул ни о том, что Алкивиад умер сорокашестилетним мужем, а ко времени суда над Сократом ему уже исполнился бы пятьдесят один год, ни о том, что Критий умер в пятьдесят семь, а теперь ему исполнился бы шестьдесят один.

– Да я и не имел никогда постоянных учеников, – продолжал он, – и никогда никого учить не пытался. А если кто, молодой или старый, желал меня слушать, то я никому никогда не препятствовал. И не то чтобы я, получая деньги, вел беседы, а не получая, не вел, но одинаково

как богатому, так и бедному позволяю я меня спрашивать, а если кто хочет, то и отвечать мне и слушать то, что я говорю. И за то, хороши эти люди или дурны, я по справедливости не могу отвечать, потому что никого из них никогда никакой науке я не учил и не обещал научить. Если же кто-нибудь утверждает, что он частным образом научился от меня чему-нибудь или слышал от меня что-нибудь, чего не слыхали и все прочие, тот, будьте уверены, говорит неправду. Истина же в том, что я убежден, что ни одного человека я не обижаю сознательно. Мне думается, что и вас бы я в том убедил, если б у вас, как у других людей, существовал закон решать дело о смертной казни в течение не одного дня, а нескольких. Однако закон требует, чтобы мы закончили сегодня. За такое короткое время трудно мне будет избавить вас от столь великих предрассудков.

Платона эта речь глубоко тронула. В старости Платон благодарил судьбу за то, что он был рожден человеком, а не бессмысленным животным; затем за то, что родился греком, а не варваром; и, наконец, за то, что родился во времена Сократа.

Анит, свободолюбивый герой войны, торговец кожей и стойкий защитник традиционных консервативных ценностей афинской демократии, вовсе не был благодарен судьбе за то, что ему выпало счастье жить во времена Сократа. Он разочаровался в собственном сыне, а винил в этом философа. Молодой человек, которому отец приказал заняться семейным делом – дублированием кож – и запретил участвовать в диспутах, то и дело устраиваемых на первом попавшемся углу этим немытым, нечесаным, еретическим старым иконоборцем Сократом, пристрастился к вину и в конце концов стал ни на что не годным.

Вследствие чего в семействе Анита и возникла логическая проблема, касающаяся причины первичной, необходимой и достаточной: кто повинен в том, что молодой человек разочаровался в бизнесе и пристрастился к философии – Анит, Сократ или ни тот ни другой?

Найденное Анитом решение этой проблемы состояло в следующем: сговориться с двумя другими обиженными и обвинить Сократа в серьезных преступлениях, в которых нет и не было ничего серьезного, после чего Сократ, как всякий нормальный человек, тут же сбежит из Афин, побоявшись вверить суду свою жизнь.

Произнесение обвинительной речи следовало поручить поэту Мелету: Сократ поэзию не жаловал.

Сочинить же эту речь надлежало оратору Ликону: риторике Сократ и вовсе ни в грош не ставил.

– А кто уплатит штраф, если обвинение не наберет третьей части голосов? – спросил поэт Мелет.

– Да, – заинтересовался ритор Ликон.

Анит и оплатит.

Ликон возрадовался:

– Сократ говорун никудышный. Поскольку он не лицемер, он не унижится до того, чтобы читать защитительную речь, написанную кем-то другим. Поэтому каждый из нас должен либо начать, либо закончить похвалой его красноречию, а в конце либо в начале обвинительной речи остеречь судей, как бы он не обманул их своим ораторским искусством.

Клятвенное их заявление, сделанное перед судом против Сократа, сына Софрониска из дема Алопеки, состояло из трех положений.¹

Сократ повинен в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества...

Троицу обвинителей не волновало то обстоятельство, что Сократ часто приносил жертвы богам как дома, так и на общих государственных алтарях, гаданием не пренебрегал и никогда ни словом, ни делом не согрешил против благочестия и веры. Он порицал поэтов, которые,

¹ Дем – административная единица в Древней Аттике; округ. – *Примеч. ред.*

подобно Гомеру и Гесиоду, рассказывают о богах недостойные байки. Для пушей убедительности троица добавила второе обвинение, истинную, чудовищную и непростительную кость в горле Анита: учительство.

...и повинен в том, что развращает юношество...

Эта формулировка, придуманная Ликоном, доставила Аниту такую радость, что он решил про себя никогда больше не поворачиваться к Ликону спиной.

Назови они сына Анита, дело пошло бы в гражданский суд, а не в уголовный. Благодаря же тому, что они скромно воздержались от упоминания каких-либо имен, в суд безмолвными свидетелями явились призраки тирана Крития и изменника Алкивиада.

...а наказание за то – смерть.

10

Он был самым странным из смертных, так он сам говорил, и знал, что способен порой доводить людей до белого каления.

Протагора, прославленного софиста, он, еще молодым человеком, поддразнивал в их прославленном споре:

– Я, на беду, человек забывчивый и, когда со мною говорят пространно, забываю, о чем речь.

Фрасимах из Халкедона, выведенный из себя, накинулся на него в «Государстве»:

– Если ты в самом деле хочешь узнать, что такое справедливость, так не задавай вопросов и не кичись опровержениями, – ты знаешь, что легче спрашивать, чем отвечать. Но нет, Сократ вполне отдается своей привычке: не отвечать самому, а придирается к чужим доводам и их опровергать.

– Так ведь я ничего не знаю, – простодушно ответил Сократ. – Ибо не знаю, что такое справедливость, а потому вряд ли узнаю, есть у нее достоинства или нет и несчастлив ли обладающий ею или, напротив, счастлив.

Знать, что ничего не знаешь, значит уже знать немало.

Мудрость состоит в осознании того, что никакой мудрости не существует.

Никто не воспринимал всерьез честного невежества, которым он прикрывался. Человек – животное политическое и общественное и, как правило, предпочитает фантастические ответы полному их отсутствию.

– Можно ли научиться добродетели или можно лишь достичь ее путем упражнений? – спросил Менон.

На что Сократ ответил:

– А что такое добродетель?

Вскоре Менон уже протестовал, исполняясь благоговейного обожания:

– Я, Сократ, еще до встречи с тобой слышал, будто ты только и делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. А еще, по-моему, если можно пошутить, ты очень похож и видом, и всем на плоского морского ската: он ведь всякого, кто к нему приблизится, приводит в оцепенение, а ты сейчас, мне кажется, сделал со мной то же самое – я оцепенел. У меня в самом деле и душа оцепенела, и язык отнялся: не знаю, как тебе и отвечать. Ведь я тысячу раз говорил о добродетели на все лады разным людям, и очень хорошо, как мне казалось, а сейчас я даже не могу сказать, что она такое.

– От него невозможно добиться прямого ответа, – сказала жена Сократа, Ксантиппа, блестящему Алкивиаду, которому хватило нахальства спросить у нее, правда ли то, что он слышал о ней и Сократе. Ксантиппа не подтвердила, что вылила мужу на голову ночной горшок, но и отрицать этого не стала.

– Ты даже не представляешь, что он на самом деле собой представляет.

– Так расскажи.

– Стоит задать ему вопрос, – затараторила Ксантиппа, – и он примется выяснять, что ты имеешь в виду. Стоит попросить его сделать что-то, он тут же притворится непонимающим и попросит объяснений. Когда все объяснишь, он потребует новых объяснений. А когда решишь, что теперь-то уж все объяснила, он задаст новый вопрос и заставит тебя объяснять дальше.

Алкивиаду не составило труда ей поверить.

– А вот послушай, чего стоит добиться от него, чтобы он вынес отбросы. «Что такое отбросы?» – спросит Сократ. Если я начну объяснять, он притворится глухим. Если я обзову его тупицей, он назовет меня софистом. Попробуй-ка сам заставить его вылить ночной горшок. Тогда и тебе захочется показать ему, как это делается.

Он ее на тот свет загонит бесконечными примерами из жизни сапожников, пастухов, врачей и плотников.

Друзьям, дивившимся, почему он не прогонит Ксантиппу, Сократ отвечал: жизнь с женой, обладающей характером столь невыносимым, что другой такой и отыскать невозможно, это лучшая школа для человека, который готовит себя к жизни в реальном мире. Уж если он научился терпеть Ксантиппу, все прочее человечество ему нипочем. Наездник, добавил он, прибегнув к одной из тех неуклюжих аналогий, от которых стонала его жена, учится своему ремеслу, объезжая коней норовистых, ибо знает, что с более смирными у него затем хлопот уже не будет.

Сократ страсть как любил приводить в пример наездников, пастухов, сапожников и врачей, при этом его аналогии – Аристотель понял это еще при первом чтении Платона – ни в какие ворота не лезли.

– Много раз мне хотелось увидеть его мертвым, – сказал близкий друг Сократа, Алкивиад, в своей хмельной похвале, приведенной в «Пире» Платона.

В юности и в ранней молодости неотразимый Алкивиад был в Афинах одной из самых блестящих фигур, личностью совершенно непереносимой, так что молодежь подражала его поведению, а старики места себе не находили от злости. Сын Алкивиада и прочие молодые люди подражали его походке, экстравагантной манере одеваться и даже картавости. Красивого, богатого, родовитого, его преследовали женщины и баловали мужчины. Он еще увеличил свое богатство, женившись на порядочной женщине, которой привычно изменял, главным образом с городскими гетерами – ионийскими проститутками, отличавшимися образованностью и светским лоском, коего недоставало афинянкам. (Прославленная подруга Перикла, Аспасия, славилась, помимо прочего, тем, что содержала в Афинах прославленный дом гетер.) Не было в Афинах человека более гордого, тщеславного и заносчивого, чем Алкивиад, не было человека в большей мере пренебрегавшего приличиями или демонстративно претенциозного, не было более самоуверенного и менее склонного к раскаянию.

– Ничего особенного не делая, – продолжал Алкивиад рассказывать о Сократе на пиру, на который его не пригласили, но куда он тем не менее явился с шумом, гамом и в стельку пьяный, – он заставляет меня стыдиться того, что я пренебрегаю самим собой и, поддаваясь соблазну, занимаюсь делами афинян. Он заставляет меня признаться, что нельзя больше жить так, как я живу. А стоит мне покинуть его, я соблазняюсь почестями, которые оказывает мне толпа. И потому я пускаюсь от него наутек, удираю, как трус, когда вижу его.

Сократ был неказист, глаза имел выпученные, губы толстые, а нос приплюснутый, походкою же смахивал на пеликана – переваливался и озирался по сторонам. У него лицо сатира, шутиливо издевался над ним Алкивиад.

Сократ был неказист по понятиям общества, ценившего в мужчине приятную внешность. Миловидных юношей там называли красавцами, а отменных мужественностью молодых людей вроде Алкивиада, Агафона и Эвтидема воспевали и поклонялись им за их красивые лица, за атлетические и поэтические дарования.

Алкивиад, более всех из молодых людей его поколения привычный к ухаживанию и раболепному поклонению, ощутил, как он признается, обиду, когда Сократ не примкнул к череде мужчин постарше, донимавших Алкивиада знаками любовного внимания. В голове у него все перемешалось, и он, вывернув принятый порядок наизнанку, обратил Сократа в возлюбленного, а себя во влюбленного, стараясь лестью и уловками завоевать чувственную привязанность этого эксцентричного средоточия своих желаний и своего любопытства. В конце концов он смирился с неудачей и признавался, что в итоге проникся уважением к характеру, самообладанию и мужественному поведению этого человека, которого он прежде недооценивал и не понимал.

– Самое же в нем поразительное, что он не похож ни на кого из людей, древних или ныне здравствующих. С Ахиллом, например, можно сопоставить Брасида и других. С Периклом – Нестора и Атенора, да и иные найдутся; и всех прочих славных людей тоже можно таким же образом с кем-то сравнить. А наш друг и в поведке своей, и в речах настолько своеобразен, что ни среди древних, ни среди ныне живущих не найдешь человека, хотя бы отдаленно на него похожего.

Эти двое вместе столовались, служа в пехоте во время осады Потидеи, что в Малой Азии, – Алкивиаду было тогда восемнадцать лет. Алкивиада ранили, и Сократ спас ему жизнь – «не захотев бросить меня, раненного, он вынес с поля боя и мое оружие, и меня самого» – отважное деяние, за которое Сократа много превозносили в ту пору, но которое не сослужило ему доброй службы впоследствии, когда Алкивиад дезертировал сначала в Спарту, потом в Персию и стал предметом всеобщего страха и всеобщих проклятий.

Награду за доблесть вручили Алкивиаду исходя из его высокого положения и несмотря на уверения Алкивиады, что заслужил-то ее Сократ. Сократ же и уговорил Алкивиаду принять ее.

– Он еще сильнее, чем они, ратовал за то, чтобы наградили меня, а не его, тут он не сможет ни упрекнуть меня, ни сказать, что я лгу, покамест сидит здесь и слушает с этим его лицом как у сатира. Или я неправду о тебе говорю? Видите, молчит и, похоже, краснеет.

Награда за доблесть несла с собой, разумеется, высокие почести – из тех, что приносят их подателям даже больше почестей, чем получателям, – тем более почетно было присуждение ее человеку, рождением превосходящему Сократа, например красивому юноше вроде Алкивиады, воспитанного в доме Перикла, который принял его под свой кров после того, как благородный отец мальчика пал в великой битве при Коронее.

В великой битве при Коронее афиняне разбили наголову.

Люди, пересидевшие эту битву дома, просят от гордости, когда узнают, что блестящий Алкивиад получил награду за доблесть, и со всей присущей им честностью подтвердят, что это и вправду большая честь.

А если бы ее получил Сократ, они бы только удивились, и все.

Ну может, еще пожали бы плечами и спросили – за что?

Алкивиад рассказывал, как в зиму той кампании Сократ босиком ходил по льду и переносил страшную стужу, даже не надевая добавочных одежд. Другие воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними.

Алкивиад подтвердил то, что знали и прочие друзья Сократа: его способность впадать в оцепенение, когда им овладевала какая-то мысль, и часами стоять без движения.

Как-то утром во время того же похода, свидетельствует Алкивиад, Сократ о чем-то задумался да так и остался стоять на месте до полудня. По лагерю распространилась весть, что Сократ с самого утра стоит на месте и о чем-то размышляет. К вечеру ионийские солдаты вынесли свои подстилки на воздух, чтобы посмотреть, долго ли он еще простоит. Смотрели, смотрели, да и заснули. А Сократ так и простоял всю ночь на одном месте. Шевельнулся он лишь к утру. Когда же рассвело, он просто помолился Солнцу и отправился по своим делам.

В наше время такое состояние называют катаlepsией.

А сверхъестественный голос, о котором рассказывает Сократ, мы называем слуховой галлюцинацией.

Еще восемь лет спустя состоялось вторжение афинян в Беотию и сражение при Делие. При Делие афиняне потерпели очередное сокрушительное поражение – разгром настолько ошеломляющий, что Периклу пришлось навсегда расстаться с его грандиозной мечтой о материковой афинской империи. Алкивиад на сей раз служил в коннице и, по собственному его признанию, подвергался при отступлении сравнительно меньшей опасности. Едучи верхом, он хорошо видел, как Сократ отходит вместе с другими после проигранной битвы. Сократ шел пешком, но повадку сохранял столь решительную, что преследовавшие афинян беотийцы, завидев его, приостанавливались и затем объезжали далеко стороной, предпочитая гоняться за теми, кто в беззащитном ужасе улепетывал без оглядки.

– Должен вас предупредить, – говорил веселый во хмелю Алкивиад, – где Сократ, там другой на красавца лучше не зарься. Вы видите, Сократ любит красивых, всегда норовит побыть с ними, восхищается ими. Вот и сейчас он без труда нашел убедительный предлог уложить Агафона возле себя. Смотри, Агафон, не попадайся ему на удочку. В том-то весь и фокус. Всю свою жизнь он морочит людей и играет с ними, а ведь ему совершенно не важно, красив человек или нет, богат ли и обладает ли каким-нибудь другим преимуществом, которое превозносит толпа. Все эти ценности он ни во что не ставит, считая, что и мы сами – ничто. Могу добавить, что не со мной одним он так обошелся. Он и с другими притворялся влюбленным, между тем как сам был скорее предметом любви, чем поклонником. Учитесь же на моем опыте и будьте начеку.

Не следует забывать, что жена Алкивиада подала прошение о разводе, поскольку он проводил слишком много времени в постелях других женщин. Он явился в суд во время выступления жены, перекинул ее через плечо и отнес домой, где, по его разумению, и полагалось находиться почтенной супруге Алкивиада.

Афинские законы о разводе женам потачки не давали.

После разрушения Афинами нейтрального города Мелоса Алкивиад привез из него красивую рабыню, прижил с ней мальчика и вырастил его как своего законного сына.

В Спарте, вскоре после того как он туда переметнулся, Алкивиад совратил жену царя; эта женщина потихоньку хвасталась подругам, что отцом ее сына, которого она, лаская, называла уменьшительным именем этого самого отца, на самом деле является красавец Алкивиад из Афин, сбежавший из города своего рождения, чтобы стать лакедемонянином и военным советником Спарты.

Сбежав и из Спарты, Алкивиад в конце концов обосновался в персидском городе, где и провел закат своих дней. Он лежал в постели с известной куртизанкой, когда посланные убить его подожгли дом, в котором он с нею лежал, принудив Алкивиада выскочить наружу с обнаженным для своей защиты мечом, и тогда те, что ждали его, чтобы убить, выскочили из засады и, пользуясь значительным численным превосходством, закидали издали копьями и стрелами.

Алкивиад, гордо и хвастливо провозглашавший свою не востребованную в прошлом страсть к Сократу, вовсе не был человеком, неприязненно относящимся к соитию с женщиной.

– Всякому, кто решается слушать Сократа, речи его на первых порах могут показаться смешными, – говорил Алкивиад в своем похвальном слове Сократу, опубликованном Платоном, – ибо на языке у него вечно какие-то выучные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики, и кажется, что говорит он всегда одними и теми же словами одно и то же, и поэтому всякий неопытный и недалекий человек готов поднять его речи на смех. Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны, а потом – что речи эти почти божественны. Всякий раз, когда я слушаю его, сердце мое бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов, то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая

Перикла и других превосходных ораторов, я ничего подобного не испытывал. Они хорошо говорили, но душа моя не приходила в смятение и отчаяние от мысли, что нельзя больше жить так, как я живу. Ведь только перед ним одним из всех людей на свете испытываю я чувство стыда за себя и свои поступки. Я сознаю, что ничем не могу опровергнуть его наставлений, я знаю, что если не заткну ушей, то так и состарюсь, сидя у его ног. Вот я и веду себя, когда вижу его, как беглый раб, – меня подмывает пуститься от него наутек. И много раз я понимал, что мне хочется, чтобы его вообще не стало на свете, хоть я, с другой стороны, отлично знаю, что, случись это, я горевал бы гораздо больше. Одним словом, я сам не ведаю, как мне относиться к этому человеку. Мне просто ума на это не хватает.²

Когда он замолк, чтобы перевести дыхание, все посмеялись, потому что он все еще был, казалось, влюблен в Сократа.

Никто никогда не видел Сократа пьяным, едва ли не с завистью напомнил Алкивиад, да и нынче не увидит, сколько его ни пои.

– Дайте-ка мне ленты, – с насмешливым вызовом вскричал Алкивиад, – чтобы я украсил ими голову этого универсального деспота, который побеждал своими речами решительно всех.

Когда же Алкивиад закончил, поднялся страшный шум и пить уже пришлось без всякого порядка, вино полилось рекой.

Сократ, однако же, не был пьян, когда почти все остальные, включая и Алкивиада, разошлись по домам и заснули. На рассвете, сообщает один из свидетелей, только Аристофан да Агафон еще и бодрствовали с Сократом. Они пили из большой чаши, передавая ее по кругу, причем Сократ неотразимыми доводами подводил этих двух премированных драматургов к признанию, что человек, способный сочинить комедию, способен также сочинить и трагедию и что искусный трагический поэт является также и поэтом комическим.

Аристофан, пока слушал, уснул, а вскоре задремал и Агафон.

Что до Сократа, то он, увидев, что поговорить больше не с кем, встал и пошел в гимнасий, умылся там и провел остальную часть дня обычным образом, а к вечеру отправился домой, отдохнуть.

Сократу было лет десять, когда к власти пришел Перикл, ликвидировавший prerogatives наследственного Ареопага, передавший законодательную власть Народному собранию, в которое мог теперь войти любой взрослый гражданин мужского пола.

Поскольку он происходил из патрициев благородных кровей, его, разумеется, назвали предателем своего класса.

Когда Перикл умер, Сократу было около сорока, и он находил в афинской демократии достоинств не больше, чем в любой иной предварявшей ее форме правления, а в теоретическом идеале, к которому решительно никто не стремился, находил их и того меньше.

Благодаря Платону с Сократом мы знаем, что при наличии двух конфликтующих политических точек зрения можно отвергать одну из них, не хватаясь за другую, и что даже когда этих точек больше двух, можно питать отвращение к ним ко всем, вместе взятым.

Самое большее, что Сократ мог сказать в пользу известной ему демократии, это то, что бывает и хуже.

Он избегал занятий политикой, если только на него не указывал жребий. При афинской демократии большую часть служителей общества избирали по жребию. Выборы, разумеется, были демократическими – по причинам, которые мы вправе назвать очевидными.

Сократ громко выражал свое удивление, почему это люди, которые не выбирают по жребию кормчего или строителя или иного ремесленника, прибегают к жребию при выборе судей или руководителей государства, ошибки которых чреваты куда более грозными последстви-

² Жрецы Великой Матери богов, славящие ее в экстатических оргиях под звуки флейт и тимпанов. – *Здесь и далее примеч. пер.*

ями. Удивляло его и то, что человек, который отыскивает беглого раба или потерянную овцу, отнюдь не желает предаваться поискам добродетели либо достойных черт собственной натуры.

Саркастические замечания подобного рода никак не располагали к нему людей, веровавших, что их система государственного устройства священна, превосходит все прочие и не подлежит аналитическому рассмотрению кем бы то ни было, кроме них самих.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.